ДЖЕРОМ К.

ДЖЕРОМ

Ангел, автор и другие
Беседы за чаем
Наблюдения Генри

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Непривычный Джером К. Джером.

Не веселый юморист, радующий читателя очередными приключениями «настоящих английских джентльменов», а мудрый, во многом опережающий свое время эссеист и сатирик.

Тонкий английский юмор Джерома сменяется язвительной иронией, веселье перемежается с грустью — и мы заново открываем для себя давно знакомого писателя.

- Джером К. Джером
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Джером К. Джером
Беседы за чаем

I

— Некоторые из этих писем очень милы, — с улыбкой сказала светская дама. — Но я бы не стала такие писать.

— Хотел бы я увидеть ваше любовное письмо, — вставил малоизвестный поэт.

— Я вам очень признательна за эти слова, — ответила светская дама. — Мне бы и в голову не пришло, что у вас может возникнуть такое желание.

— Именно его я всегда лелеял, — возразил малоизвестный поэт. — Но вы никогда меня не понимали.

— Я уверена, сборник избранных любовных писем продавался бы очень хорошо, — вставила выпускница Гертона, — если бы они были написаны одной рукой, но разным людям в разные периоды жизни. В письмах к одному человеку без повторов не обойтись.

— Или от разных поклонников одной даме, — предложил философ. — Это любопытно, наблюдать реакцию различных характеров, подверженных воздействию неизменного фактора. Возможно, эти письма прольют свет на весьма спорный вопрос: достоинства, которые украшают нашу возлюбленную, ее собственные или нами же ей и приписываемые. Будет ли один обращаться к этой женщине «Моя королева!», а другой «Милая девчушка!» — или для всех ее кавалеров она будет оставаться самой собой?

— Вы можете предпринять такую попытку, отобрав, разумеется, самые интересные письма, — обратился я к светской даме.

— Этим можно навлечь на себя массу неприятностей, или вы так не думаете? — ответила светская дама. — Те, чьи письма не попадут в сборник, никогда меня не простят. Такое всегда случается с людьми, которых забываешь пригласить на похороны — они усматривают в этом осознанное стремление отнестись к ним свысока.

— Первое любовное письмо я написал в шестнадцать лет, — мечтательно вздохнул малоизвестный поэт. — Ее звали Моника. Я не встречал столь неземной красоты. Я написал письмо и запечатал в конверт, но долго не мог решить, как ей его отдать — то ли сунуть в руку, когда мы будем проходить мимо, а это обычно случалось по четвергам, во второй половине дня, то ли дождаться воскресенья.

— Тут двух мнений быть не может, — рассеянно пробормотала выпускница Гертона. — Наилучший момент на выходе из церкви. Там всегда такая толчея. А кроме того, у всех

при себе молитвенник… ох, извините меня.

— Необходимость принимать решение отпала сама собой, — продолжил малоизвестный поэт. — В четверг на ее месте сидела толстая рыжеволосая девица, которая на мой вопросительный взгляд ответила идиотским смешком, а в воскресенье я напрасно искал ее на скамьях Ипатия-Хаус. Потом я узнал, что в прошлую среду ее неожиданно отослали домой. Похоже, печалился об этом не я один. Письмо я оставил там, куда сразу и положил, в нижнем ящике стола, и со временем забыл о нем. Годы спустя я действительно влюбился и сел за стол, чтобы написать девушке письмо, которое очаровало бы ее. Мне хотелось вплести в него любовь всех столетий. Закончив послание и перечитав его, я остался доволен собой. Потом, собираясь запечатать, совершенно случайно вывернул на пол содержимое нижнего ящика, и из него выпало другое любовное письмо, написанное мною семь лет назад. Исключительно из любопытства я вскрыл его. Теперь я нашел в нем куда больше выразительности, искренности и художественной простоты.

— В конце концов, что может сказать мужчина женщине помимо того, что любит ее? — задал философ риторический вопрос. — Все остальное — образное развернутое описание, сравнимое с «Полным и обстоятельным отчетом нашего специального корреспондента», высосанным из трехстрочной телеграммы информационного агентства Рейтер.

Малоизвестный поэт с ним не согласился:

— Следуя вашей логике, «Ромео и Джульетту» можно свести к трагедии из двух строк:

> Полюбили парень с девкой, близких огорошили.
> Чем закончился роман? Да ничего хорошего.[1]

— Слова о том, что тебя любят, — только начало теоремы, — заметила выпускница Гертона. — Можно сказать, всего лишь постановка задачи.

— Или аргумент поэта, — пробормотала старая дева.

— А самое интересное — в доказательстве, — добавила выпускница Гертона. — Почему он меня любит?

— Однажды я спросила об этом одного мужчину, — подала голос светская дама. — Так он ответил: потому что ничего не может с этим поделать. Так уж вышло. Вроде бы глупый ответ — нечто подобное всегда говорит горничная, если разбивает твой любимый заварочный чайник. И однако, полагаю, здравомыслия в нем ничуть не меньше, чем в любом другом.

— Даже больше, — прокомментировал философ. — Это

единственно возможное объяснение.

— Мне бы хотелось, — заговорил малоизвестный поэт, — чтобы один человек мог задать этот вопрос другому, не опасаясь, что тот сочтет себя оскорбленным. Меня часто так и подмывает это сделать. Почему мужчины женятся на грубых, прыщавых девицах с пробивающимися усиками? Почему прекрасные богатые невесты выходят замуж за толстогубых недомерков, которые еще и бьют их? Откуда берутся старые холостяки, такие умные, обходительные, добросердечные? И почему так много милых и веселых старых дев?

— Я думаю, — начала старая дева, — причина, возможно… — Но тут она замолчала.

— Прошу вас, продолжайте, — попросил ее философ. — Мне крайне интересно ваше мнение.

— Это пустяк, знаете ли, — ответила старая дева. — Я забыла.

— Если бы человек мог рассчитывать на правдивые ответы, — вздохнул малоизвестный поэт, — каким потоком света они залили бы потаенную сторону жизни!

— А мне представляется, что любовь, пожалуй, выставлена напоказ, как ничто другое, — не согласился с ним философ. — Эта тема слишком уж вульгаризирована. Каждый год тысячи пьес и романов, стихотворений и эссе срывают покровы с Храма Любви, вытаскивают ее обнаженной на площадь, чтобы ухмыляющаяся толпа могла поглазеть на нее. В миллионе рассказов, как юмористических, так и серьезных, с ней обходятся более-менее грубо, более или менее невежественно, ее хлещут и высмеивают, над ней глумятся. Ей не оставлено ни толики самоуважения. Она — центральная фигура любого фарса, в каждом мюзик-холле все танцы и песни о ней, ее освистывают с галерей, над ней смеются в партере. Она — ведущая тема всех юмористических журналов. Мог бы какой другой бог, даже Мумбо-Юмбо, при таком отношении сохранить уважение своей паствы? Все термины, обозначающие нежность, превращены в бойкие словечки, каждая ласка передразнивает нас со щитов для рекламных объявлений. Всякое слово любви, произнесенное нами, рождает сотню пародий. Любая ситуация заранее испорчена для нас каким-нибудь американским юмористом.

— Я видел достаточно много пародий «Гамлета», но пьеса по-прежнему мне интересна, — не согласился с его точкой зрения малоизвестный поэт. — Я помню пеший экскурсионный тур по Баварии. Кое-где на обочинах там стоят отвратительные распятия, которые поворачиваются с помощью специальных механических устройств. Так вот, для крестьян, проходящих мимо, Христос на

них по-прежнему прекрасен. Принизить можно лишь то, что уже ничтожно.

— Патриотизм — великая добродетель, — заметил философ, — но ура-патриоты низвели его до объекта насмешек.

— Наоборот, — вновь возразил малоизвестный поэт, — они научили нас отличать истину от фальши. То же самое и с любовью. Чем больше она подвергается унижениям, чем сильнее высмеивается, чем чаще используется на потребу толпе, тем меньше все это отражается на ней — я люблю любовь, как признавался Гейне, ради любви.

— Нужно, чтобы любовь рождалась в нас или мы приобретаем ее, потому что такова мода? — спросила выпускница Гертона. — Мы должны принять решение любить, как мальчишки принимают решение научиться курить, потому что все это делают, а мы предпочитаем не отличаться от других?

— Абсолютное большинство мужчин и женщин не способно любить, — изрек малоизвестный поэт. — Для большей их части это всего лишь животная страсть, для остальных — легкая привязанность.

— Мы говорим о любви, как о чем-то известном и определенном, — указал философ. — В конце концов, нет никакой разницы в высказываниях «человек любит» или «он рисует» и «он играет на скрипке». Во всех случаях слова эти не имеют значения, пока мы не засвидетельствовали их соответствие действительности. Однако у того, кто слушает дискуссию на сей предмет, может сложиться впечатление, что нет никакой разницы между любовью Данте и рядового члена нашего общества, между любовью Клеопатры и Жорж Санд.

— Это всегдашняя беда бедной Сьюзен, — вздохнула светская дама. — Она не может убедить себя, что Джим ее любит. Это особенно печально, потому что — и я в этом уверена — он предан ей всей душой, по-своему. Но он не может делать всего того, что она от него хочет; она так романтична. Он пытался. Ходил на все эти пьесы в стихах и сам пробовал писать. Но не обладал должным талантом, и получалось плохо. Он мог влететь в комнату и упасть перед ней на колени, не заметив собачки, а потому, вместо того чтобы излить все, что накопилось на сердце, ему приходилось начинать с: «Я очень об этом сожалею! Надеюсь, я не причинил вреда бедняжке?» И кто после этого будет выслушивать признания в любви?

— Молоденькие девушки такие глупые! — пожала плечами старая дева. — Они бегут за тем, что блестит, и замечают золото, лишь когда уже слишком поздно. Поначалу у них есть только глаза, но не сердце.

— Я знал девушку, — поделился я, — точнее, молодую женщину, которая вылечилась от глупости гомеопатическим методом. Ее главная проблема заключалась в том, что муж перестал быть ее возлюбленным.

— Мне кажется, это так печально, — вздохнула старая дева. — Иногда в этом вина женщины, иногда — мужчины, гораздо чаще — их обоих. Маленькие знаки внимания, нежные слова, всякие пустячки, которые столько значат для влюбленных… не очень уж много усилий требуется для того, чтобы не забывать о них и потом, а ведь они так украшают семейную жизнь.

— Линия здравого смысла — вот на что все это нанизано, — сказал я. — И секрет жизни заключается в том, чтобы не отклоняться от этой линии слишком уж далеко, все равно в какую сторону. Он был ее самым преданным поклонником, чувствовал себя счастливым, только когда видел ее, но не прошло и года после свадьбы, как она обнаружила, к полному своему изумлению, что теперь ему очень неплохо и вдали от ее юбок, более того, он прилагает немалые усилия для того, чтобы завоевать внимание других женщин. После полудня он чуть ли не каждый день уходил в клуб, часто гулял в одиночестве, запирался в кабинете. Дело зашло так далеко, что однажды он высказал пожелание оставить ее на неделю, чтобы поехать на рыбалку с другими мужчинами. Она никогда не жаловалась — во всяком случае, ему.

— Тут она сглупила, — высказала свое мнение выпускница Гертона. — Молчание в подобных ситуациях — ошибка. Другая сторона не знает, что с тобой происходит, а ты сама, поскольку напряжение накапливается и не находит выхода, становишься все более раздражительной.

— Она поделилась своими бедами с подругой, — уточнил я.

— Я очень не люблю тех, кто так поступает, — отчеканила светская дама. — Эмили никогда не говорила с Джорджем, она приходила ко мне, чтобы пожаловаться на него, как будто я несу за него ответственность. А я даже не его мать. После того как она заканчивала, являлся Джордж, и мне предстояло выслушивать все то же самое, только с его позиции. В конце концов я от этого так устала, что решила поставить точку.

— И как вам это удалось? — спросила старая дева, вроде бы очень заинтересовавшись рецептом.

— Я знала, что Джордж придет в тот день, — объяснила светская дама, — и убедила Эмили подождать в зимнем саду. Она думала, что я собираюсь дать Джорджу дельный совет; вместо этого я принялась ему сочувствовать и поощряла говорить

предельно откровенно, что он и сделал. Эмили это настолько взбесило, что она выскочила из зимнего сада и высказала Джорджу все, что о нем думала. Я оставила их выяснять отношения. Им это понравилось. И я довольна тем, что теперь они прекрасно обходятся без меня.

— В моем случае все вышло иначе, — продолжил я. — Ее подруга объяснила ему, что происходит. Указала, что его пренебрежение и безразличие медленно влияли на чувства жены по отношению к нему. Он это оспорил. «Возлюбленный и муж — это не одно и то же, — заявил он. — Ситуация совершенно иная. Ты бегаешь за кем-то для того, чтобы поймать. Но, когда добыча поймана, суетиться уже незачем. Ты спокойно сидишь рядом. Тебе больше не нужно кричать и махать носовым платком, чтобы привлечь к себе внимание».

Их общая подруга смотрела на проблему иначе: «Ты должен удерживать обретенное, или оно может ускользнуть от тебя. Определенными поступками и поведением тебе удалось завоевать расположение милой девушки; и почему ты думаешь, что ее отношение к тебе не изменится, если ты покажешь себя совсем в ином свете?»

«Ты говоришь мне, что я, став ее мужем, должен вести себя точно так же, как вел, будучи ее ухажером?»

«Именно, — ответила подруга. — Почему нет?»

«Мне кажется, это неправильно», — пробурчал он.

«А ты попробуй и посмотри, что из этого выйдет», — предложила подруга.

«Хорошо, я попробую», — согласился он, пошел домой и принялся выполнять обещанное.

— Он опоздал? — спросила старая дева. — Или отношения вновь наладились?

— В следующем месяце, — ответил я, — они не разлучались двадцать четыре часа в сутки. А потом уже жена предложила, как поэт в комической опере Гилберта «Терпение», что неплохо бы хотя бы иногда проводить вторую половину дня по отдельности.

Муж крутился вокруг нее по утрам, когда она одевалась. В тот самый момент, когда она укладывала волосы, страстно целовал, и прическа разваливалась. За едой держал ее за руку под столом и настаивал на том, чтобы самому кормить ее. До свадьбы он раз или два проделывал такое на пикнике, а после свадьбы она с упреком напомнила ему об этом, потому что теперь за завтраком он всегда сидел на другом конце стола, читая газету или письма. Весь день он не отходил от нее. Она не могла почитать книгу; вместо этого он читал ей вслух, обычно поэмы Браунинга или переведенные на английский стихи Гёте. Чтение

вслух не входило в число его достоинств, но в те недели и месяцы, когда он за ней ухаживал, она благосклонно воспринимала такие его попытки, о чем напомнил ей уже он. И, полагал он, раз уж они начали эту игру, она должна принимать в ней активное участие. Если он должен дурачиться, то и ей, само собой, положено вести себя глупо. Как он объяснил, отныне и навеки они должны превратиться во влюбленных, и у нее не нашлось никаких логических аргументов, чтобы умерить его пыл. Если она писала письмо, он вырывал его из ее дивных ручек и начинал целовать — разумеется, при этом размазывал чернила. Если он не сидел у ее ног, подавая иголки и булавки, то устраивался на подлокотнике кресла и иногда сваливался на нее. Если она шла в магазин, он сопровождал ее и в ателье напоминал слона, попавшего в посудную лавку. В обществе он не замечал никого, кроме нее, и обижался, если она разговаривала с кем-то еще. Впрочем, в этот месяц в свет они выходили редко, потому что большинство приглашений он отклонял от лица их обоих, напоминая ей, что не так уж и давно она ставила вечер, проведенный с ним наедине, несравненно выше всех иных развлечений. Он называл ее нелепыми прозвищами, разговаривал с ней на детском языке; по десять раз на дню ей приходилась заново причесываться. В конце месяца, как я и упомянул ранее, она предложила небольшой перерыв в проявлении любви.

— Окажись я на ее месте, — прокомментировала выпускница Гертона, — то предложила бы разъехаться на какое-то время. И ненавидела бы его до конца жизни.

— Только за то, что он старался пойти вам навстречу? — удивился я.

— За то, что он показал мне, какой же я дурой была, требуя от него проявлений любви, — ответила выпускница Гертона.

— Люди зачастую превращаются в посмешище, если заставлять их следовать данному слову, — указал философ.

— Особенно женщины, — пробормотал малоизвестный поэт.

— Даже любопытно, а так ли много различий между мужчинами и женщинами? — подхватил тему философ. — Может, в большинстве своем отличия эти — продукт цивилизации, а не проявление природы, результат профессиональной подготовки, а не инстинкты?

— Отрицая борьбу мужского и женского, вы убьете половину поэзии! — вскричал малоизвестный поэт.

— Поэзия служит человеку, а не человек — поэзии, — возразил философ. — Я склонен думать, что борьба, о которой вы говорите, нечто надуманное и поэты сыграли в этом немалую роль. Точно так же газеты являются пропагандистами войны. Она

дает им возможность о чем-то писать и напрямую связана с увеличением тиража. Чтобы проверить истинные намерения природы, куда эффективнее изучать братьев наших меньших. А там мы не видим фундаментальных вариаций; разница очень даже незначительная.

— Я совершенно с вами согласна, — кивнула выпускница Гертона. — Мужчина, научившийся хитрить, быстро понял, как, используя грубую силу, превратить женщину в рабыню. А во всем остальном женщина, несомненно, выше его.

— С точки зрения женщины, равенство полов неизбежно означает верховенство женщины, — констатировал я.

— Это очень любопытно, — добавил философ. — Как вы только что отметили, женщина не способна рассуждать логически.

— А мужчины способны? — пожелала знать выпускница Гертона.

— Если брать их в целом — да, — ответил малоизвестный поэт.

II

— От чего страдает женщина, так это от избытка комплиментов, — заметил философ. — Они кружат ей голову.

— То есть вы допускаете, что голова у женщины есть? — полюбопытствовала выпускница Гертона.

— Согласно моей версии, — ответил философ, — природа наделила женщину головой. А вот воздыхатели всегда представляли женщину безмозглой.

— Почему у умной девушки обязательно прямые волосы? — спросила светская дама.

— Потому что она их не завивает, — ответила выпускница Гертона, на мой взгляд, резковато.

— Я как-то об этом не подумала, — прошептала светская дама.

— Надо бы отметить в свете нашей дискуссии, — я решился внести свою лепту, — что мы практически ничего не слышим о женах высокоинтеллектуальных мужчин. А если слышим, как в случае Карлейлей,[2] то лучше бы и не слышать вовсе.

— Когда я был моложе, — вмешался малоизвестный поэт, — я много думал о семейной жизни. Моя жена, говорил я себе, будет женщиной умной. И однако, что удивительно, ни одна из девушек, в которых я влюблялся, не отличалась высоким интеллектом — присутствующие, понятно, не в счет.

— И как так вышло, что в самом наисерьезнейшем поступке нашей жизни — создании семьи, важные аргументы никогда не рассматриваются всерьез? — вздохнул философ. — Ямочка на подбородке позволяет девушке заполучить лучшего из мужей, тогда как добродетели и ума зачастую не хватает, чтобы найти самого плохонького.

— Я думаю, тому есть простое объяснение, — ответил малоизвестный поэт. — Супружество считается естественной частью нашей жизни, а потому в выборе второй половины мы руководствуемся инстинктами. Супружество — попытка прикрыть цветами риторики тот факт, что речь идет о животной стороне нашей личности. Мужчину тянут к семейной жизни первобытные желания, женщину — врожденное стремление стать матерью.

Тонкие белые руки старой девы тревожно задвигались на коленях.

— Почему мы стремимся найти объяснение всему самому прекрасному в этой жизни? — заговорила она с не свойственным ей пылом. — Застенчивый юноша, такой скромный, такой трепетный, благоговеющий, будто в храме какого-то

таинственного святого; юная дева, зачарованно блуждающая среди грез! Они думают только друг о друге и ни о чем больше.

— Прослеживая путь горной речушки к ее источнику, важно не нарушить музыку, которой она радует нас, протекая по долине, — указал философ. — Тайный закон нашего существования питает каждый листок нашей жизни, точно так же, как сок растекается по всему дереву. Полупрозрачный лепесток, созревающий фрукт — всего лишь изменяющаяся наружная форма.

— Терпеть не могу докапываться до сути! — воскликнула светская дама. — Бедный дорогой папан это так любил. Объяснял нам воспроизводство устриц, когда мы наслаждались ими. После этого бедная маман не могла заставить себя к ним прикоснуться. За десертом начинал спорить с дядей Полом, какая кровь более предпочтительна для виноградных вин, свиньи или бычка. За год до того как Эмили вышла замуж, я это хорошо помню, умер ее любимый пони. Ни о ком она так не скорбела ни до, ни после. Она спросила пап*а*н, не позволит ли он похоронить бедняжку в саду. Ей хотелось изредка приходить на его могилу и поплакать на ней. Пап*а*н принял ее желание близко к сердцу, погладил ее по головке. «Конечно, дорогая моя, мы похороним его за новой клубничной грядкой». В этот самый момент к нам подошел старик Пардоу, наш главный садовник, снял шляпу и высказал свое предложение: «Я как раз собирался спросить мисс Эмили, не позволит ли она похоронить бедняжку под персиковым деревом. В последнее время они почему-то не очень хорошо плодоносят».

Он хотел как лучше, даже добавил, что поставит там могильный камень, но к тому времени бедную Эмили уже не волновало, где именно похоронят умершее животное, и мы ушли, оставив отца и садовника выбирать место для могилы. Я сейчас не скажу, чем закончилась эта история, однако следующие два года мы обе не ели ни клубники, ни нектаринов.

— Всему свое время, — согласился философ. — С влюбленным, прославляющим в стихах дивные алые щечки своей возлюбленной, мы не обсуждаем цвет крови и ее циркуляцию. Однако тема интересная.

— Мы, мужчины и женщины, — продолжил малоизвестный поэт, — любимцы природы, ее надежда, те, для кого она пошла на жертву, отказавшись от многих своих убеждений, говоря себе, что она старомодная. Природа позволила нам уйти от нее в странную школу, где смеются над всеми ее представлениями. Там мы обучились новым, необычным идеям, которые ставят это добрую даму в тупик. И однако, вернувшись домой, любопытно заметить, сколь мало в некоторых особенно важных аспектах жизни мы

отличаемся от других ее детей, которые никогда не уходили от нее. Наш словарный запас стал более объемным и продуманным, но при столкновении лицом к лицу с реалиями существования он становится ненужным. Цепляясь за жизнь, стоя рядом с мертвым, мы по-прежнему срываемся на крик. Наши желания стали более сложными; банкет из десяти блюд, со всеми составляющими, заменил пригоршню ягод и орехов, собранных без особого труда; забитый бычок и масса хлопот вместо обеда из трав и ленивого времяпрепровождения. Так ли высоко поднялись мы над нашим меньшим братом, который, проглотив сочного червячка, устраивается на ближайшем сучке и, не страдая несварением желудка, начинает возносить хвалу Господу? Квадратная кирпичная коробка, по которой мы передвигаемся, наступая при каждом шаге на дерево, завешанная тряпками и полосами цветной бумаги, заставленная всякой ерундой из расплавленного кремния и обожженной глины, заменила не требующую никаких затрат, привычную пещеру. Мы одеваемся в шкуры животных, вместо того чтобы позволить нашей коже приспосабливаться к естественным условиям. Мы обвешиваемся вещичками из камня и металла, но под всем этим остаемся все теми же маленькими двуногими животными, сражающимися с остальными за жизнь и пропитание. Весной под каждой зеленой изгородью мы можем увидеть в развитии те самые романтические отношения, которые так нам знакомы: первое закипание крови, пристальный взгляд, чудесное открытие второй половины, ухаживание, отказ, надежду, кокетство, отчаяние, удовлетворение, соперничество, ненависть, ревность, любовь, горечь, победу и смерть. Наши комедии, наши трагедии разыгрываются на каждой травинке. Это тоже мы, только в шерсти и перьях.

— Знаю, — кивнула светская дама. — Я так часто это слышала. Все это ерунда, я могу вам это доказать.

— Ну разумеется, — ответил философ. — Ведь доказывалось же, что и Нагорная проповедь — ерунда. Причем даже епископом. Ерундой называют и обратную сторону рисунка на ткани, и болтающиеся спутанные концы ниток, которыми вышивает Мудрость.

— В колледже со мной училась некая мисс Эскью, — вмешалась выпускница Гертона. — Она соглашалась со всеми. С Марксом становилась социалисткой, с Карлейлем — сторонницей прогрессивного деспотизма, со Спинозой — материалисткой, с Ньюманом — фанатичкой. Однажды я долго беседовала с ней перед тем, как она покинула колледж, пытаясь ее понять. Интересная была девушка. «Думаю, я могла бы выбрать между ними, — поделилась она со мной, — если бы они могли отвечать

друг другу. Но они не могли. Не слушали другого. Повторяли только свое!»

— Ответа нет! — воскликнул философ. — Сердцевина каждого искреннего мнения — истина. Жизнь содержит только вопросы — ответы будут опубликованы в будущем издании.

— Эта молодая женщина относилась к тем, кто хотел знать все, — улыбнулась выпускница Гертона. — Мы смеялись над ней.

— В это я легко могу поверить, — кивнул философ.

— Все это как поход за покупками, — вставила старая дева.

— Поход за покупками? — Глаза выпускницы Гертона широко раскрылись.

Старая дева покраснела:

— Я просто подумала… Звучит, наверное, глупо, но мне в голову почему-то пришла эта идея.

— Вы подумали о трудности выбора? — предположил я.

— Да, — ответила старая дева. — В магазинах так много разного и интересного, что иной раз с правильным выбором возникают проблемы. Во всяком случае, я знаю это по собственному опыту. Случается, так злюсь на себя. Кажусь себе слабоумной, но ничего не могу с собой поделать. Платье, которое сейчас на мне…

— Великолепное платье, — прервала ее светская дама. — Я им просто восхищаюсь. Хотя, должна признаться, думаю, на вас лучше смотрелся бы более темный тон.

— И вы совершенно правы, — ответила старая дева. — Лично я просто его ненавижу. Но вы знаете, как это происходит? Приходишь в магазин, проводишь там все утро, чувствуешь себя такой уставшей и не можешь… — Старая дева резко замолчала. — Простите меня, боюсь, я помешала вам договорить.

— Меня так порадовало сказанное вами, — улыбнулся ей философ. — Знаете, мне представляется, это похоже…

— На что? — спросила выпускница Гертона.

— На то, как многие из нас выбирают свое мнение, — ответил философ. — Просто мы не любим уходить из магазина с пустыми руками. — Тут он повернулся к светской даме: — Но вы собирались объяснить… доказать свою точку зрения.

— По поводу того, что я говорил ерунду, — напомнил ей малоизвестный поэт. — Если, конечно, это вас не утомит.

— Отнюдь, — ответила светская дама, — все очень просто. Дары цивилизации не могут быть никчемным мусором, каким их пытаются представить адвокаты первобытной дикости. Я помню, как дядя Пол привез к нам в дом молодую обезьянку, которую поймал в Африке. Из палок и досок мы соорудили для нее подобие дерева и поставили в оружейной комнате. Получилась

отличная имитация того места, на котором ее предки прожили тысячи лет, и первые две ночи обезьянка действительно спала на этом псевдодереве. А на третью ночь эта маленькая дикарка вышвырнула бедного кота из его корзины и улеглась спать на подстилку из гагачьего пуха. К концу третьего месяца, если мы предлагали ей арахис, она выхватывала его из наших рук и швыряла нам в лицо, потому что отдавала предпочтение имбирным пряникам и некрепкому, но очень сладкому чаю, а когда мы хотели увести ее с кухни, чтобы она могла насладиться прогулкой по саду, нам приходилось тащить ее силой, и при этом она страшно ругалась. И я ее очень хорошо понимаю. Я тоже предпочитаю стул, на котором сижу, пусть вы и назовете его деревяшкой, самой удобной глыбе песчаника, какую только можно отыскать в пещере. И я достаточно выродилась, чтобы считать, что в этом платье я смотрюсь очень неплохо — гораздо лучше моих братьев и сестер, которые жили в пещерах. Они бы и не поняли, как его нужно носить.

— Вы бы выглядели очаровательно, — пробормотал я совершенно искренне, — даже…

— Я знаю, что вы собираетесь сказать, — прервала меня светская дама. — Пожалуйста, не надо. Это шокирует, а кроме того, я с вами не соглашусь. Толстая, грубая кожа, спутанные волосы и никакой возможности переодеться — это не для меня.

— Я утверждаю следующее, — гнул свое малоизвестный поэт. — То, что мы называем цивилизацией, дало нам слишком мало, если не считать потворства нашим животным инстинктам. Ваши аргументы только подтверждают мою теорию. Ваши заявления в поддержку цивилизации сводятся к тому, что ей по силам разжечь аппетиты обезьяны. И вам не стоило уходить так далеко. Современный благородный дикарь отказывается от родниковой воды, чтобы прильнуть к бутылке миссионерского джина. Он даже отбросит головной убор из перьев, по крайней мере такой живописный, ради шляпы-цилиндра. А потом придет черед клетчатых брюк и дешевого шампанского. И где тут прогресс? Цивилизация снабжает нас все большей роскошью для тела. В этом я с вами полностью согласен. Но принесла ли она нам реальное улучшение?

— Она дала нам живопись, — указала выпускница Гертона.

— Когда вы говорите «нам», — ответил малоизвестный поэт, — то, как я понимаю, подразумеваете одного человека на полмиллиона, для которого живопись нечто большее, чем слово. Оставляя за скобками бесчисленные орды, которые никогда не слышали этого слова, и сосредоточив внимание на тех нескольких тысячах, разбросанных по Европе и Америке, которые болтают о

ней. На скольких людей, по-вашему, искусство действительно оказывает влияние, входит в их жизнь, облагораживает, расширяет кругозор? Понаблюдайте за лицами тех, кто жиденьким потоком струится по милям наших художественных галерей и музеев. Или, разинув рот, с путеводителем в руке, таращится на развалины замка или кафедральный собор; стремится с одержимостью мученика ощутить восторг при взгляде на картины старых мастеров (над которыми, предоставленные самим себе, они бы только посмеялись) или на статуи-обрубки (их, если бы не путеводитель, они бы ошибочно приняли за поврежденные поделки из пригородной чайной). Только один из десяти действительно наслаждается тем, что видит, и он, несомненно, должен быть лучшим из этого десятка. Нерон был истинным ценителем искусства, а в более близкие нам времена Август Сильный из Саксонии, «человек греха», как называл его Карлейль, оставил после себя неопровержимые доказательства того, что он превосходно разбирался и в живописи, и в искусстве вообще. Можно назвать и другие имена, еще более близкие к нам по времени. Вы действительно считаете, что искусство облагораживает и развивает?

— Вы говорите все это ради того, чтобы говорить, — упрекнула его выпускница Гертона.

— Некоторые могут говорить и ради того, чтобы думать, — напомнил ей малоизвестный поэт. — И это тоже надо учитывать. Но, допуская, что искусство служило человечеству в целом, что оно ответственно, как заявлялось, за одну десятую основополагающих ценностей, — и я считаю, что это излишне щедрая оценка, — его влияние на мир в целом остается крайне несущественным.

— Влияние это расширяется, — указала выпускница Гертона. — От отдельных распространяется на многих.

— Но процесс, как мне представляется, очень уж медленный, — ответил малоизвестный поэт. — А результата, каким бы он ни был, мы могли достичь гораздо быстрее, обходясь без посредника.

— Какого посредника? — пожелала знать выпускница Гертона.

— Художника, который превращает живопись в бизнес, торговца, продающего эмоции. Картины Коро и Тернера, в конце концов, жалкая халтура в сравнении с весенней прогулкой по Шварцвальду или с видом на Хэмпстед-Хит в ноябрьский день. Если бы люди меньше занимались приобретением «благ цивилизации», не тратили бы столетий на создание городских трущоб и ферм с крышами из ржавого железа, то могли бы найти

время, чтобы научиться любить красоту природы. Но мы так стремились стать «цивилизованными», что забыли, как жить. Мы похожи на старую даму, с которой я однажды ехал в карете через Симплон.

— Между прочим, — вставил я, — в ближайшем будущем уже никому не придется так мучиться. Я слышал, что практически закончено строительство новой железной дороги. По ней поездка из Домо в Бриг займет чуть больше двух часов. Мне говорили, что там удивительные тоннели.

— Будет очаровательно, — вздохнул малоизвестный поэт. — Я с нетерпением жду будущего, в котором, спасибо цивилизации, с путешествиями будет покончено раз и навсегда. Нас будут зашивать в мешок и выстреливать из одного места в другое. Но я говорю о том времени, когда приходилось пользоваться дорогой, вьющейся по самой замечательной части Швейцарии. Я в полной мере наслаждался поездкой, однако моя спутница не могла оценить ее по достоинству. И не потому, что с безразличием относилась к изумительному ландшафту. Как следовало из ее слов, природу она любила безмерно. Но багаж постоянно требовал внимания. Он состоял из семнадцати предметов, и всякий раз, когда древний экипаж подпрыгивал или покачивался, а такое происходило каждые тридцать секунд, она боялась, что часть ее багажа упадет и останется на дороге. Полдня уходило у нее на то, чтобы считать и перекладывать многочисленные баулы и коробки. Интересовало ее только облако пыли, поднимаемое каретой. И одна коробка со шляпкой действительно сумела незаметно раствориться в этой пыли, после чего старая дама сидела, обхватив руками чуть ли не все шестнадцать предметов оставшегося багажа, и вздыхала.

— Я знала одну итальянскую графиню, — заговорила светская дама, — которая ходила в школу с моей маман. Она бы и полмили не прошла пешком, чтобы полюбоваться пейзажем. «С какой стати? — говорила она. — А для чего существуют художники? Если там есть что-то хорошее, они изобразят, и я посмотрю». Графиня говорила, что предпочитает картину реальности, потому что первая — произведение искусства. Если же брать реальный пейзаж, жаловалась она, то можно не сомневаться, что на заднем плане окажется труба или на переднем — ресторан, которые испортят общее впечатление. Художник их опустит. А если необходимо, добавит корову или прелестную девочку, чтобы усилить эффект. Настоящая же корова, если уж попадется на глаза, будет стоять не тем боком, а девочка, пусть и живая, окажется толстухой или простушкой, а может, и вообще будет в совершенно неподходящей шляпке.

Художник же точно знает, какой должна быть девочка, и изобразит ее именно так, чтобы она соответствовала месту и времени. Графиня говорила, что сталкивается с этим всю жизнь: афиша всегда лучше спектакля.

— Все к этому и идет, — кивнул малоизвестный поэт. — Природа, как однажды сказал хорошо известный художник, недостаточно быстро «ползет», чтобы успевать за нашими идеалами. В просвещенной Германии улучшают водопады и красят скалы. В Париже в ходу косметика для детей.

— В этом нельзя винить цивилизацию, — упрекнула его выпускница Гертона. — Древние бритты души не чаяли в синем красителе из вайды.

— Это первые робкие шаги человека вверх по тропе искусства, — согласился малоизвестный поэт. — Высшей точки он достиг, когда создал румяна и краску для волос.

— Да перестаньте! — рассмеялась старая дева. — Вы очень узко мыслите. Цивилизация дала нам музыку. Вы же не можете не признать, что от музыки нам только польза!

— Милая моя, — ответил малоизвестный поэт, — вы говорите о достижении, к которому цивилизация имеет очень малое, а то и вовсе никакого отношения. Это единственный вид искусства, дарованный человеку природой наряду с птицами и насекомыми, интеллектуальное наслаждение, которое мы разделяем со всем животным миром, за исключением разве что семейства псовых. Но даже собачий вой — хотя уверенности в этом и нет — может рассматриваться как искренняя, пусть и неудовлетворительная, попытка создания собственной музыки. У меня был фокстерьер, который всегда подвывал в такт музыке. Иувал помешал нам, а не помог. Именно он заглушил музыку проклятием профессионализма. И теперь, как дрожащие от холода приказчики, заплатившие за спортивную игру, в которой они не могут участвовать, мы молчаливо сидим в наших ложах и слушаем оплаченного нами же исполнителя. Но для музыканта музыка может быть универсальной. Человеческий голос по-прежнему прекраснейший инструмент, и им мы владеем все, за малым исключением. Хотя и позволили ему заржаветь, чтобы лучше слышать трубы и литавры. Выражение «музыкальный мир» ранее понималось буквально. Цивилизация свела его к кружку лиц, объединенных общими интересами.

— Между прочим, — повернулась к нему светская дама, — раз уж речь зашла о музыке, вы слышали последнюю симфонию Грига? Мне прислали ее с недавней почтой. Я ее уже разучила.

— Так позвольте нам ее послушать, — обратилась к ней старая дева. — Я обожаю Грига.

Светская дама поднялась и открыла пианино.

— Лично я всегда придерживался мнения… — начал я.

— Пожалуйста, не отвлекайте, — прервал меня малоизвестный поэт.

III

— Мне она никогда не нравилась. — Старая дева поджала губы. — Я всегда знала, что она бессердечная.

— По мне, она всегда показывала себя честной женщиной, — возразил малоизвестный поэт.

— Право же, — светская дама рассмеялась, — мне придется называть вас доктор Джонсон Воскресший.[3] Я уверена, будь это темой дискуссии, вы восхищались бы прической фурий. Сказали бы, что волосы у них вьются от природы.

— В его жилах течет ирландская кровь, — указал я. — Он всегда должен высказывать свое особое мнение.

— Мы должны его благодарить, — вступился за него философ. — Что может быть неинтереснее разговора, в котором все друг с другом соглашаются? Расхождение во взглядах стимулирует мысль.

— Может, в этом причина того, что современное общество стало невероятно скучным? — предположил я. — Запрещая различия во мнениях, мы засушили наше общение. Религия, секс, политика — все, о чем человек действительно думает, скрупулезно выставляется за дверь. Разговор превращается в хор, или, как остроумно охарактеризовал происходящее один писатель, в преследование очевидного без выводов. Если исключить бормотание: «Я совершенно с вами согласен… Как вы и сказали… Именно так я и думаю», — мы сидим и загадываем друг другу шарады. «Что сделал слон, когда пришел Наполеон?»

— Мода побеждает там, где сила столетиями терпела неудачи, — добавил философ. — Эту тенденцию можно заметить даже в общественных делах. Принадлежать к оппозиции ныне дурной тон. Основная цель церкви — подстроиться под общественное мнение. Голос, который не идет на компромисс с совестью, с каждым днем становится все слабее.

— Я уверена, именно поэтому Эмили никак не может поладить с беднягой Джорджем. — Светская дама покачала головой. — Он соглашается с ней во всем. Она говорит, что чувствует себя при этом дурой.

— Человек — воинственное животное, — объяснил философ. — Вот что буквально на днях рассказал мне офицер, который участвовал в Бурской войне. Их часть отправилась на территорию, где вроде бы обнаружили партизанский отряд. Солдаты вышли из лагеря в превосходном настроении и после трех дней поисков в труднопроходимой местности нашли, как они полагали, врага. Но на самом деле нашли они не врага, а

своих — добровольческий отряд, заблудившийся на незнакомой территории. И, по словам моего друга, его часть приветствовала этот добровольческий отряд земляков без всякой теплоты.

— Лично я возненавидела бы мужчину, который соглашался бы со мной, — призналась выпускница Гертона.

— Дорогая моя, — ответила ей светская дама, — я так не думаю.

— Почему? — удивилась выпускница Гертона.

— Потому что я более высокого о вас мнения.

— Меня радует наше с вами общение, — пробормотал малоизвестный поэт. — Я всегда полагал себя адвокатом дьявола, самым важным участником суда истины.

— Помнится, однажды я присутствовал на обеде, когда за одним столом сидели знаменитый судья и не менее знаменитый королевский адвокат, клиента которого судья в тот самый день приговорил к повешению. «Я всегда испытываю чувство глубокого удовлетворения, вынося приговор вашему подзащитному. В том, что он виновен, нет абсолютно никаких сомнений», — добродушно отметил судья в разговоре с королевским адвокатом. Тот ответил, что всегда будет с гордостью вспоминать слова судьи.

— А кто сказал: «Прежде чем обличать ложь, ее нужно очистить от правды»? — спросил философ.

— Похоже на Эмерсона, — предположил я.

— Очень возможно, — кивнул философ. — Но очень возможно, что и нет. Многое зависит от репутации. Больше всего стихов приписывается Шекспиру.

— Где-то неделей раньше я вошел в одну гостиную, — поделился я примером на ту же тему. — «Мы как раз говорили о вас! — воскликнула моя хозяйка. — Это же ваша статья?» — Она указала на статью в некоем журнале, который раскрытым лежал на столе. «Нет, — ответил я, — но один или два человека уже задавали мне этот вопрос. Мне представляется, что это довольно абсурдная статья», — добавил я. «Не могу сказать, что я высокого о ней мнения», — согласилась хозяйка гостиной.

— Ничего не могу с собой поделать, — пожала плечами старая дева. — Всегда буду испытывать неприязнь к девушке, которая сознательно продает себя за деньги.

— А за что еще ей себя продавать? — спросил малоизвестный поэт.

— Она вообще не должна себя продавать, — ответила старая дева. — Она должна отдаваться — за любовь.

— Не получается ли у нас так, что различие во мнениях целиком определяется толкованием слов? — задал еще один

вопрос малоизвестный поэт. — Мы все, полагаю, слышали историю про еврея-портного, которого рабби обвинил в том, что тот занимается бизнесом в Шаббат. «Занимаюсь бизнесом! — с негодованием воскликнул обвиняемый. — Вы говорите мне, что продать один костюм за восемнадцать шиллингов — это бизнес? Да это же благотворительность!» Эта «любовь», за которую девушка должна отдать себя, — давайте будем более точными — она не включает в себя, как само собой разумеющееся, нечто более материальное? Будет ли обожаемая несколько удивлена, обнаружив, отдавшись за «любовь», что ее возлюбленный не собирался давать ей ничего, кроме любви? Не сорвутся ли с ее губ естественные вопросы: «Но где дом, не говоря уже об обстановке? И на что мы собираемся жить?»

— Вы играете словами, — заявила старая дева. — Большее включает меньшее. Любя ее, он, конечно же, желает…

— Предоставить в ее распоряжение все свое имущество, — закончил за нее малоизвестный поэт. — Другими словами, он платит за нее цену. То есть с учетом любви они в расчете. Заключая семейный союз, мужчина отдает себя женщине точно так же, как женщина отдает себя мужчине. Мужчина — мне это известно — требует для себя большей свободы, но требование это всегда яростно отвергается женщиной. Она одержала победу. Юридически и морально мужа и жену связывают одни и те же законы. В такой ситуации не приходится говорить, что она отдает себя. Она меняет себя на материальные блага. Если на то пошло, именно она объявляет свою цену.

— Лучше сказать, свой прожиточный минимум, — поправил его философ. — Ленивое безделье обряжается в юбки, праздная глупость вышагивает в брюках. Но в любом сословии на женщину ложатся какие-то обязанности. Если говорить о бедняках, то женщина работает больше мужчины. В сельских районах на эту тему написано много баллад. Я часто слышал, как их пели на деревенских танцах или на ярмарках по завершении жатвы. Смысл, впрочем, один:

До заката трудится мужчина,
Несть конца у женщины работы.

— Мой дворецкий, — заговорила светская дама, — подошел ко мне несколько месяцев назад, чтобы сказать, что кухарка подала заявление об уходе. «Очень жаль, — ответила я. — Она нашла место получше?» «Насчет этого я не уверен, — ответил Маркем. — Она собирается стать служанкой на все руки». «Служанкой на все руки!» — воскликнула я. «У старого Хадсона,

который живет около угольного порта, — пояснил Маркем. — Его жена умерла в прошлом году, если вы помните. У него, бедняги, семеро детей, и за ними некому присматривать». «Как я понимаю, ты хочешь сказать, что она выходит замуж?» «Что ж, так она говорит, — рассмеялся Маркем. — А я ей говорю, что она отказывается от хорошего дома и пятидесяти фунтов в год, чтобы стать служанкой на все руки, и при этом бесплатно. Но они этого не понимают».

— Я ее помню, — кивнул малоизвестный поэт. — Довольно унылая женщина. Позвольте мне упомянуть про другую. У вас работает удивительно милая горничная… Эдит, если я не ошибаюсь.

— Я тоже обратил на нее внимание, — признался философ. — Мне показалось, что у нее исключительные манеры.

— Я бы не потерпела рядом с собой женщину с рыжими волосами, — покачала головой выпускница Гертона.

— Я бы не назвал их рыжими, — возразил философ. — Они скорее золотистые, причем цвет очень насыщенный, если к ним приглядеться.

— Она милая девушка, — согласилась светская дама. — Но, боюсь, мне придется от нее избавиться. Другие служанки с ней не ладят.

— Вы не знаете, обручена она или нет? — спросил малоизвестный поэт.

— В настоящий момент, — ответила светская дама, — за ней ухаживает, насколько мне известно, старший сын хозяина «Синего льва». Но она не выказывала желания в переменах, если вас это действительно интересует…

— Я думаю не о себе, — ответил малоизвестный поэт. — Но, допустим, некий молодой человек приятной наружности, не уступающий в этом сыну хозяина «Синего льва», а может, даже и уступающий, но с годовым доходом две или три тысячи фунтов, появится на ее горизонте — как думаете, много ли шансов останется у «Синего льва»?

В высших классах, — продолжил малоизвестный поэт, — нет никакой возможности наблюдать женский инстинкт. Выбор девушки ограничен кавалерами, которые могут заплатить требуемую цену, и обычно выбирает не она, а те, кто стоит на страже ее интересов. Но возникнут ли сомнения у дочери рабочего класса, если при прочих равных условиях ей предложат выбрать между Мейфэром и Севен-Дайалс?

— Позвольте и мне задать вам вопрос, — проворковала выпускница Гертона. — Станет ли каменщик колебаться, выбирая между герцогиней и судомойкой?

— Но герцогини не влюбляются в каменщиков, — указал малоизвестный поэт. — Такова правда жизни. Биржевые брокеры заводят флирт с официантками из бара — такие случаи известны; и часто женятся на них. А дама, отправившаяся за покупками, когда-нибудь влюблялась в официанта кафе-кондитерской? Вряд ли. Лорды женятся на балеринах, но леди редко кладут свои сердца и состояние к ногам комического артиста, изображающего лорда. Мужская красота и достоинство не сосредоточены исключительно в палате лордов. Как вы оцениваете тот факт, что для мужчины обычное дело подыскивать себе пару среди тех, кто по статусу ниже его, тогда как женщина практически всегда предпочитает тех, кто стоит на более высоких ступеньках социальной лестницы, и уж точно терпеть не может нижестоящих? Почему король Кофетуа и нищенка представляются нам прекрасной легендой, тогда как королева Кофетуа и бродяга — абсурдом?

— Все очень просто, — разъяснила выпускница Гертона. — Женщина настолько выше мужчины, что достигнуть относительного равенства он может, лишь обвешав себя всевозможными жизненными достижениями.

— Тогда, — ответил малоизвестный поэт, — вы, несомненно, согласитесь с тем, что женщина права, требуя для себя этот «довесок». Женщина, если угодно, отдает свою любовь. Это драгоценное произведение искусства, золоченая ваза, в которую насыпан фунт чаю. Но за чай приходится платить.

— Все это звучит очень умно, — прокомментировала старая дева. — И все-таки я не пойму, что хорошего в высмеивании того, что сердце полагает священным?

— Да я же ничего и не высмеиваю! — воскликнул малоизвестный поэт. — Любовь — это дивная статуя, которую Бог изваял собственными руками и поместил в Сад Жизни. Мужчина, не знавший греха, поклонялся ей, пока не познал зло. Тут он увидел, что статуя обнажена, и устыдился этого. С тех самых пор он занят тем, что укрывает ее в соответствии с модой того или иного века. Мы обуваем ее в изящные дамские ботинки, сожалея о размере ноги. Мы нанимаем лучших портных, чтобы они придумали одежду, максимально скрывающую ее фигуру. Каждый сезон мы примериваем новую шляпку на ее неизменную голову. Мы навешиваем на нее одежды, сплетенные из слов. Один лишь намек на ее роскошную грудь, которую мы не можем скрыть, в немалой степени нас шокирует; только по ней мы можем судить, что под этими безвкусными одеждами остается неизменной та самая статуя, которую Бог изваял собственными руками.

— Мне нравится, когда вы так говорите, — кивнула старая

дева. — Но я не уверена, что ваши слова искренни. Я хотела лишь сказать, что деньги не должны стоять у женщины на первом плане. Женитьба за деньги — это не женитьба; нечего об этом и говорить. Но здравомыслие, естественно, необходимо.

— Хотите сказать, что женщина также должна принимать во внимание свой обед, одежду и предметы роскоши? — спросил малоизвестный поэт.

— И не только для себя, — уточнила старая дева.

— А для кого еще? — удивился малоизвестный поэт.

Белые руки старой девы дернулись на коленях, показывая внутреннее волнение. Лицо, конечно же, осталось спокойным.

— Надо принимать во внимание и детей, — ответил я. — Женщина подсознательно это чувствует. Материнский инстинкт.

Старая дева с благодарностью мне улыбнулась.

— К этому я и веду, — кивнул малоизвестный поэт. — Женщина назначена природой доверенным лицом своих детей. Это ее долг — думать о них, планировать их жизнь. Если, выходя замуж, она не учитывает будущее, тогда она не оправдывает доверия.

— Прежде чем вы продолжите, — прервал его философ, — я хочу указать на один важный момент. Хорошо ли баловать детей? Или бедность — наилучшая школа?

— Именно это я всегда говорю Джорджу, когда он жалуется на цены, — вставила светская дама. — Если бы мой отец обеднел, я чувствую, что смогла бы стать лучшей женой.

— Пожалуйста, даже не предполагайте такой возможности, — взмолился я. — Это мысль слишком уж дикая.

— Вы никогда не отличались богатым воображением, — ответила светская дама.

— До такой степени — нет, — согласился я.

— «У лучших матерей вырастают худшие дети», — процитировала выпускница Гертона. — Я буду об этом помнить.

— Ваша мать была таким прекрасным человеком, — заметила старая дева. — Даже не знаю, кого можно с ней сравнить.

— В этом высказывании, несомненно, есть доля правды, — согласился малоизвестный поэт, — но лишь потому, что это исключение, и природа неизбежно пускает в ход все свои силы, чтобы воспрепятствовать результату отклониться от ее законов. Будь это правилом, тогда плохая мать становилась бы хорошей, а хорошая — плохой. И…

— Пожалуйста, не продолжайте, — попросила светская дама. — Я и так прошлой ночью долго не могла уснуть.

— Я лишь пытался показать, — объяснил малоизвестный поэт, — что все дороги ведут к закону: хорошая мать — лучшая

мать. Ее обязанность — оберегать детство своих малышей, думать о том, как обеспечить их всем необходимым.

— Вы со всей серьезностью просите нас поверить, что женщина, которая выходит замуж из-за денег, хоть в малой степени учитывает чьи-либо интересы, помимо своих? — спросила старая дева.

— Сознательно, возможно, и нет, — признал малоизвестный поэт. — Наши инстинкты, которые так легко управляют нами, изначально эгоистичны. Цветок выделяет нектар для собственных целей, а не для того, чтобы облагодетельствовать пчелу. Женщина, поступая эгоистично, выполняет планы природы. В давние времена она выбирала мужчину за его силу. Вполне возможно, что думала она только о себе: он лучше других сможет утолить ее тогда еще простые желания, уберечь от неприятных происшествий кочевой жизни. Но природа невидимой рукой направляла ее, думая о том, что и детям этой женщины нужен смелый и решительный защитник. Теперь богатство подменило силу. Богатый мужчина — сильный мужчина. Сердцем женщина подсознательно тянется к нему.

— А разве мужчины никогда не женятся ради денег? — осведомилась выпускница Гертона. — Спрашиваю исключительно для расширения кругозора. Возможно, меня неправильно информировали, но я слышала о странах, где приданое ценится чуть ли не выше самой невесты.

— Немецкий офицер в прямом смысле выставлен на продажу, — позволил я себе внести свои пять пенсов. — Молодые лейтенанты самые дорогие, но даже полковник в возрасте обойдется девушке в сто тысяч марок.

— Вы хотели сказать, обойдется ее отцу, — поправил меня малоизвестный поэт. — В Европе муж требует приданое за своей женой и, судя по всему, получает его. Сам он, в свою очередь, должен годами экономить и копить, чтобы обеспечить приданым каждую из дочерей. Понятно, о чем тут речь. Вы хотите сказать, что женщина наравне с мужчиной может служить источником богатства. Это так, но богатство женщины — неизменно результат замужества, то ли ее самой, то ли кого из практичных прародительниц. Когда же мы говорим о наследнице, принцип купли-продажи, если вы простите мне использование таких вульгарных терминов, проводится в жизнь еще более скрупулезно. Не так уж часто наследницу просто отдают; иногда ее даже крадут, к негодованию лорд-канцлеров и прочих хранителей такой собственности; вора должным образом наказывают, вплоть до тюремного заключения, если возникает такая необходимость. Если наследницу выдают замуж с

соблюдением всех формальностей, ее цена четко оговаривается, и не обязательно в деньгах, благо их у нее и так хватает. Деньги позволяют ей выторговывать для своих детей нечто не менее ценное, скажем, титул или положение в обществе. Примерно так же женщина эпохи неолита, сама исключительно сильная и жестокая, могла позволить себе мысль о красоте своего пещерного возлюбленного, о доисторическом очаровании его манер. И таким образом способствовала природе в развитии вида.

— Не могу с вами спорить, — вздохнула старая дева. — Но я знала одну пару: они оба были бедны. Однако для нее это значения не имело, а вот он очень переживал. Возможно, я не права, но мне представляется, что наши инстинкты, как вы и сказали, дарованы нам, чтобы нас направлять. Не знаю, но мне кажется, что будущее не в наших руках. Оно нам не принадлежит. Возможно, мудрее прислушиваться к голосам, которые звучат внутри нас.

— Я тоже помню один случай, — сказала светская дама. Она поднялась, чтобы разлить чай, и повернулась к нам спиной. — Как и молодая женщина, о которой вы упомянули, эта девушка была бедна. И мне редко встречались такие очаровательные существа. Не могу не думать о том, сколько пользы она принесла бы миру, став матерью!

— Моя дорогая, как же вы мне помогаете! — воскликнул малоизвестный поэт.

— Если вас послушать, я только это и делаю, — рассмеялась светская дама. — Я начинаю напоминать быка, который забросил маленького мальчика на яблоню, куда он весь день пытался вскарабкаться.

— Это так мило с вашей стороны, — ответил малоизвестный поэт. — Я считаю, что женщина имеет право рассматривать замужество как цель своего существования, а мужчина в этом случае — всего лишь средство. Женщина, о которой вы говорили, повела себя эгоистично, отвергнув корону материнства, потому что ее предлагалось взять не из избранных ею рук.

— Вы бы предпочли, чтобы мы выходили замуж не по любви? — спросила выпускница Гертона.

— По любви, если возможно, — ответил малоизвестный поэт. — И без любви, если альтернатива — совсем не выходить замуж. Это исполнение закона природы.

— Вы видите в нас товар и движимое имущество! — воскликнула выпускница Гертона.

— Я вижу в вас жриц храма Природы, приобщающих мужчину к обожанию ее таинств. Какой-то американский юморист написал, что женитьба — стремление некоего молодого мужчины оплатить

стол и кров некоей молодой женщине. От этого определения уйти невозможно. Давайте его примем. Это прекрасно, если встать на позицию молодого мужчины. Он жертвует собой, чего-то лишает себя, он может отдавать. Это любовь. А как это выглядит с позиции женщины? Если она берет, думая только о себе, тогда с ее стороны это дурно пахнущая сделка. Чтобы понять ее, чтобы отнестись к ней по справедливости, мы должны заглянуть глубже. Ее королевство не сексуальная, а материнская любовь. Она отдает себя не своему избраннику, но через этого избранника — великой богине мириада грудей, которая своими крылами укрывает Жизнь, оберегая ее от протянутой руки Смерти.

— Она, возможно, и очень милая девушка с точки зрения природы, — поджала губы старая дева, — но лично мне она никогда не понравится.

IV

— Который час? — спросила выпускница Гертона.

Я взглянул на часы:

— Двадцать минут пятого.

— Точно? — спросила выпускница Гертона.

— Абсолютно, — ответил я.

— Странно, — пробормотала она. — Этому нет объяснения, но всегда получается именно так.

— Чему нет объяснения? — спросил я. — Что странно?

— Это немецкое суеверие, — объяснила выпускница Гертона. — Я узнала о нем, когда училась. Если в любой компании над столом повисает полная тишина, происходит это всегда в двадцать минут какого-то часа.

— Почему мы так много говорим? — пожелал знать малоизвестный поэт.

— Если на то пошло, — указала светская дама, — я не думаю, что мы — лично мы — много говорим. По большей части мы слушаем вас.

— Тогда почему я много говорю, если вы предпочитаете такой вариант? — продолжил малоизвестный поэт. — Если бы я говорил меньше, кому-то из вас пришлось бы говорить больше.

— Кто-нибудь воспользовался бы предоставленным шансом, — согласился философ.

— Вероятнее всего вы, — повернулся к нему малоизвестный поэт. — Потеряло бы или приобрело от этого наше приятное времяпрепровождение, не мне судить, хотя мнение на этот счет у меня есть. Главное, чтобы поток разговора не прерывался. Ведь так?

— У меня есть один знакомый, его фамилия Лонгруш, — начал я свой рассказ. — Возможно, вы тоже его знаете. Он не совсем зануда. Зануда ожидает, что вы будете его слушать. Этому человеку совершенно без разницы, слушаете вы его или нет. Он не дурак. Дурак иной раз забавен, Лонгруш — никогда. Он знает все, какой бы ни была тема, ему всегда есть что сказать. Он говорит, как шарманка перетирает музыку: монотонно, уверенно, без устали. Начинает, как только вы встаете или садитесь рядом с ним, вещает без перерыва, пока не уезжает в кебе или омнибусе к следующей своей остановке. Как и в случае с его прототипом, валик с шипами-кулачками меняется примерно раз в месяц, чтобы соответствовать текущей моде. В январе он повторяет вам шутки Дэна Лено или знакомит с мнением других людей о картинах старых мастеров в Гилдхолле. В июне пространно делится

мыслями на предмет Академии или соглашается с тем, что большинство людей по большей части говорят об опере. Если на мгновение забыть, — для англичан это простительно — зима сейчас или лето, для того, чтобы вспомнить, достаточно дождаться, пока Лонгруш с энтузиазмом заговорит о крикете или футболе. Он всегда в курсе последних событий. Новая постановка Шекспира, самый свежий скандал, человек часа, важнейшее событие ближайших семи дней — Лонгруш готовит свой валик с вечера. Когда я только начинал работать журналистом, мне приходилось каждый вечер писать для провинциальной ежедневной газеты колонку, которая называлась «Что говорят люди?». От редактора я получил четкие инструкции. «Мне не нужно ваше мнение; я не хочу, чтобы вы упражнялись в остроумии; не важно, находите ли вы в этом что-то интересное или нет. Мне нужна полная достоверность, я хочу знать, что говорят люди». Я попытался отнестись к заданию добросовестно. Сохранял все слова-паразиты. Я писал эту колонку, потому что нуждался в тридцати шиллингах. Почему кто-то ее читал, мне непонятно и по сей день, но, насколько мне известно, колонка считалась одним из самых популярных материалов газеты. Лонгруш неизменно вызывает у меня воспоминания о тех долгих часах, которые я провел над той глупой колонкой.

— Кажется, я знаю человека, о котором вы говорите, — кивнул философ. — Просто забыл его фамилию.

— Я подумал, что вы могли с ним встречаться, — ответил я. — На днях моя кузина Эдит устраивала званый обед и, как обычно, оказала мне честь, обратившись за советом. По большому счету, нынче я советов не даю. А в молодости так ими и сыпал. Но с тех пор пришел к выводу, что достаточно нести ответственность и за собственные ошибки и глупости. Однако для Эдит я делаю исключение, зная, что она никогда моему совету не последует.

— Если говорить о редакторах, — заметил философ, — на днях в клубе Бейтс сказал мне, что перестал лично писать в колонку «Ответы читателям» после того, как выяснилось, что достаточно долго дискутировал на столь привлекательную тему, как «Обязанности отца», с собственной женой, известной своими юмористическими произведениями.

— Моя мать рассказывала мне о жене священника, — поделилась своими воспоминаниями светская дама, — которая хранила копии проповедей мужа. Зачитывала ему отрывки из них в постели, вместо того чтобы что-то выговаривать. Объясняла, что так ей проще. Все, что она считала необходимым ему сказать, он уже говорил сам, причем более убедительно.

— Аргумент, который всегда кажется мне слабым, — указал

философ. — Если бы проповедовать могло только совершенство, наши кафедры оставались бы пустыми. Разве я могу игнорировать умиротворение, которое растекается по моей душе при внимательном чтении псалмов, или отрицать пользу, которую приносит мне мудрость Притчей, потому что ни Давид, ни Соломон не были достойной оправой драгоценных камней, вложенных в них Господом? Лектор, рассказывающий о вреде алкоголя, никогда не должен цитировать самопорицания бедного Кассио только потому, что мастер Уилл Шекспир — и тому есть доказательства — слишком уж любил выпить? Человек, который бьет в барабан, может быть трусом, но для нас важен барабан, а не барабанщик.

— Из всех моих подруг, — вставила светская дама, — самые большие проблемы с прислугой возникают у Джейн Мередит.

— Прискорбно это слышать, — отозвался философ после короткой паузы. — Но, уж простите меня, я не знаю, кто это.

— Это вы простите меня, — улыбнулась светская дама. — Я думала, все знают Джейн Мередит. Она автор колонки «Идеальный дом» в журнале «Мир женщин».

— Полагаю, это навсегда останется загадкой, — воскликнул малоизвестный поэт. — Что есть настоящее эго… я, автор «Простой жизни», четырнадцатое издание, три шиллинга и шесть пенсов за…

— Не надо, — взмолилась с улыбкой старая дева. — Пожалуйста, не надо.

— Не надо что? — спросил малоизвестный поэт.

— Не издевайтесь над этим, не поднимайте на смех, пусть вы и автор. Некоторые отрывки я знаю наизусть. Повторяю их про себя, когда… не портите впечатление. — Старая дева рассмеялась, но как-то нервно.

— Милая моя, — заверил ее малоизвестный поэт, — не бойтесь. Никто не относится к этой поэме с большим уважением, чем я. И я безмерно счастлив, что вам она нравится. Мне тоже случается читать ее про себя, когда… мы понимаем. Как человек поворачивается спиной к сценам насилия, чтобы насладиться лунным светом, так и я обращаюсь к этой поэме за свежестью и покоем. Так сильно восхищает меня эта поэма, что я естественным образом испытываю желание познакомиться с ее автором, мне любопытно поближе узнать его. Я получил бы огромное наслаждение, уведя его из толкотни гостиной, держа за руку, чтобы сказать: «Мой дорогой… мой очень дорогой мистер малоизвестный поэт, я так рад с вами познакомиться! У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, как мне помогло ваше замечательное произведение! Знакомство с вами, мой дорогой

сэр… для меня это действительно честь!» Но я могу так живо представить себе скучающий взгляд, с которым он будет принимать мои восторженные слова. Я могу представить себе пренебрежение, с которым он, живущий на земле, отнесся бы ко мне, если бы знал меня — меня, витающего в облаках.

— Однажды я где-то прочитал французский рассказ, который произвел на меня впечатление, — вновь взял слово я. — Поэт или драматург, точно не помню, женился на дочери провинциального нотариуса. Привлекало в ней только одно — приданое. Он уже прожил все свои деньги и находился в стесненных обстоятельствах. Она его обожала и была, как он похвалялся своим друзьям, идеальной женой для поэта. Она восхитительно готовила — полезное качество в первые пять-шесть лет их семейной жизни. Потом, когда фортуна повернулась к нему лицом, она взялась за управление его делами, и благодаря ее заботе все тревоги оставались за порогом его кабинета. Безусловно, идеальная housfrau,[4] но, разумеется, не достойная спутница нашего поэта. Так они шли, каждый своей дорогой, пока не наступил день, когда наша милая дама — возможно, выбрав самый удачный момент: поэт уже мог обойтись без ее услуг — умерла, и ее похоронили.

И тут начинается самая интересная часть этой истории, самая неожиданная. В их доме, таком уютном и со вкусом обставленном, совершенно неуместным казался тяжелый резной дубовый письменный стол, никак не гармонирующий со всей остальной мебелью. Но женщина не желала с ним расставаться. Ее отец в свое время работал за ним и подарил его ей на день рождения, когда она еще была девочкой-подростком.

Вы должны сами прочитать этот рассказ, чтобы насладиться тонкой грустью, которая пронизывает его, почувствовать окружающую повествование ауру сожаления. Приложив определенные усилия, муж находит ключ от этого стола. Простоватый, массивный, тяжеловесный, он всегда коробил утонченный вкус нашего героя. И она, его добрая, любящая Сара, была простоватой и чуть тяжеловесной. Возможно, по этой причине бедная женщина так цеплялась за единственную вещь в их идеальном доме, которая совершенно не вписывалась в интерьер. Да ладно! Она ушла, бедняжка. А стол… столу предстояло остаться. Никто больше не будет входить в эту комнату, да и никто и не входил, кроме самой женщины. Может, она не была такой счастливой, какой могла бы быть. Муж, будь он не столь высокоинтеллектуальным, — и потому она жила от него так далеко, — мог бы принять большее участие в ее простой, обыкновенной жизни! Возможно, это пошло бы на пользу им

обоим. Итак, муж выдвигает самый большой ящик. Он набит рукописными листами, аккуратно сложенными и перевязанными ленточкой, когда-то яркой, но выцветшей от времени. Поначалу он думает, что это его рукописи, начатые и незаконченные, любовно ею собранные. Она так заботилась о нем, добрая душа! Действительно, не могла же она быть такой тупицей, какой он ее воспринимал. Талант она оценить умела — этого у нее не отнять. Он развязывает ленточку. Разворачивает первый лист. Нет, почерк ее: она что-то правила, подчеркивала, писала сверху. Он разворачивает второй лист, третий. С улыбкой садится, чтобы прочитать. Какими они могут быть, эти стихотворения, эти истории? Он смеется, разглаживает смятую бумагу, предвидя затертые банальности, легковесные сантименты. Бедное дитя! Ей хотелось стать литератором. Даже она лелеяла честолюбивые замыслы, грезила наяву.

Солнечный луч поднимается по стене позади него, пересекает потолок, медленно выскальзывает через окно, оставляя его одного. Все эти годы он жил рядом с поэтессой! Им бы быть товарищами, а они практически не разговаривали. Почему она пряталась? Почему оставила его, не открылась ему? Давным-давно, когда они только-только поженились, — теперь он это вспоминает — она совала ему в карман маленькие, в синей обложке, блокнотики, смеясь, краснея, просила прочитать то, что в них. Как он мог догадаться? Конечно же, забывал. Позже они исчезали; ему и в голову не приходило над этим задуматься. Часто в те давние дни она пыталась заговаривать с ним о его работе. Если бы он посмотрел ей в глаза, то, наверное, понял. Но она всегда была такой домашней, такой приземленной. Кто бы заподозрил? И тут внезапно краска приливает к его лицу. Что она думала о его творениях? Все эти годы он видел ее своей верной поклонницей, не способной оценить его достижения, но восхищающейся ими. Он иногда читал ей свои стихи, сравнивая себя с Мольером, читающим кухарке. Какое она имела право так обойтись с ним? Какая глупость! Какая жалость! Он бы так радовался ее таланту!

— Любопытно, что становится с мыслями, которые так и остаются невысказанными? — В задумчивости философ помолчал несколько секунд. — Мы знаем, что в природе ничего не пропадает. Даже капуста бессмертна, продолжает жить в иной форме. Путь напечатанной или озвученной мысли мы можем проследить, но такие составляют лишь малую часть. Этот вопрос часто возникает у меня, когда я иду по улице. Мужчины или женщины, которых я встречаю, молчаливо вьют паутину из мыслей, коротких или длинных, утонченных или грубых. Что с

ними становится?

— Я слышала, вы как-то сказали, — напомнила старая дева малоизвестному поэту, — что мысли носятся в воздухе, и поэт собирает их, как ребенок собирает отдельные цветочки, чтобы превратить их в букет.

— Это предназначалось только для ваших ушей, — ответил малоизвестный поэт. — Пожалуйста, не повторяйте мои слова, а не то мой издатель воспользуется ими как аргументом, чтобы срезать мне роялти.

— Я всегда буду помнить ваши слова, — улыбнулась старая дева. — Мне они кажутся такими правдивыми! Мысли, внезапно возникающие в голове. Иногда они представляются мне маленькими детьми-сиротами, заползающими в наше сознание в поисках убежища.

— Привлекательная идея, — кивнул малоизвестный поэт. — Я вижу их в сумеречном свете: жалкие маленькие круглоглазые существа, отдаленно напоминающие гоблинов, едва заметные на фоне темнеющего воздуха. Откуда явилась ты, маленькая нежная мысль, стучащаяся в мой разум? Из далекого леса, где мать-крестьянка прядет и при этом поет колыбельную своему младенцу? Мысль любви и желания: твой храбрый отец лежит, а его отроческие глаза смотрят, не моргая, на какое-то яркое чужеземное солнце? Мысль жизни и мысль смерти: вы обе знатного происхождения, взлелеянные высокорожденной девой, неспешно разгуливающей по благоухающему саду? Или обрели жизнь в грохоте ткацких станков? Бедные, маленькие, безымянные найденыши! Я чувствую себя филантропом, подбирая их, признавая своими.

— Вы же еще не решили, кто вы, — напомнила ему светская дама. — Джентльмен, которого мы покупаем за три шиллинга и шесть пенсов, или человек, наш знакомый, который достается нам бесплатно. Пожалуйста, не думайте, что я намекаю на какое-то сравнение, но меня интересует этот вопрос с тех пор, как Джордж присоединился к Богемскому клубу и у него вошло в привычку приглашать известных в узких кругах людей погостить у нас с субботы по понедельник. Я очень надеюсь, что меня нельзя назвать недалекой, но против приезда одного господина мне пришлось решительно воспротивиться. Джордж настаивает, что я должна согласиться, поскольку он истинный поэт. Я не могу признать это за аргумент. Поэтому я искренне восхищаюсь. Мне нравится его присутствие в моем доме. Он лежит в моей гостиной в красивом переплете и вносит свою лепту в элегантность обстановки. За поэта я готова заплатить четыре шиллинга и шесть пенсов, которые с меня просят, но человек мне не нужен.

Откровенно говоря, он не стоит собственной скидки.

— Это несправедливо, сводить обсуждение к поэтам, — покачал головой малоизвестный поэт. — Несколько лет тому назад мой друг женился на одной из самых очаровательных женщин Нью-Йорка, и это говорит о многом. Все его поздравляли, и первое время он выглядел очень довольным собой. Через два года я встретил его в Женеве, и мы вместе доехали до Рима. Он и его жена всю дорогу практически не разговаривали, и, прежде чем мы расстались, он по доброте душевной дал мне совет, который может оказаться полезным другому мужчине. «Никогда не женись на очаровательной женщине, — посоветовал он мне. — Вне рабочего времени невозможно представить себе большей зануды, чем „очаровательная женщина“».

— Я думаю, мы должны согласиться с тем, что проповедник — тот же артист, — изрек философ. — Певец может быть толстым, обрюзгшим мужчиной, отдающим должное пиву, но его голос трогает нам душу. Проповедник высоко держит знамя непорочности. Размахивает им над своей головой и над головами тех, кто окружает его. Он кричит не «Приди ко мне», а «Иди со мной, и будешь спасен». Молитва «Прости им» не от священника, а от Бога. В молитвах, продиктованных апостолам, говорилось «Прости нас», «Передай нас». И те, кто нуждается в лидере, собираются за его спиной не потому, что он храбрее или смелее. Причина в том, что он знает путь. Он тоже может бояться, тоже может совершать ошибки, но он единственный никогда не обратится в бегство.

— Вполне объяснимо, что тот, кто многое отдает другим, сам должен быть слабым, — заметил малоизвестный поэт. — Профессиональный спортсмен расплачивается, как я понимаю, своим здоровьем. Согласно моей теории, самые обаятельные, самые веселые люди, которых встречаешь в обществе, это те, кто нечестным путем оставили себе дары, доверенные им природой и предназначенные для всех. Добросовестно относящийся к делу, трудолюбивый юморист в личной жизни скучен до неприличия. Нечестный попечитель смеха, с другой стороны, лишивший мир остроумия, которое вручили ему для использования на благо общества, становится блестящим собеседником. — Тут малоизвестный поэт повернулся ко мне: — Но вы упоминали человека по фамилии Лонгруш, говорят, он великий рассказчик?

— Рассказы его не блестящие, а долгие, — поправил я его. — В списке приглашенных моя кузина упомянула его третьим. «Лонгруш. Мы должны пригласить Лонгруша». — В голосе ее слышалась убежденность в собственной правоте. «Не слишком ли он утомляет?» — усомнился я. «Он утомляет, — согласилась

кузина, — но пользы от него больше. Он не позволяет закиснуть разговору».

— Почему так все устроено? — спросил малоизвестный поэт. — Почему, встречаясь, мы должны щебетать, как стая воробьев? Почему любая встреча считается успешной, если шума на ней, как в домике попугаев в зоологическом саду?

— Я помню одну попугайную историю, — вставил я. — Только забыл, кто мне ее рассказал.

— Может, кто-нибудь из нас вспомнит. Пока мы будем слушать, — предположил философ.

— Один человек, — начал я, — старый фермер, если не ошибаюсь, прочитал много историй о попугаях или услышал их в клубе. В итоге подумал, что неплохо бы и самому обзавестись попугаем, отправился в соответствующий магазин и по собственной воле за весьма приличную цену приобрел выбранную птицу. Через неделю вернулся в магазин, а какой-то мальчик занес следом клетку с попугаем. «Эта птица, — заявил фермер, — эта птица, которую вы продали мне неделю тому назад, не стоит соверена». «А что с ней такое?» — спросил продавец. «Откуда мне знать, что с ней? — ответил фермер. — Я говорю вам другое — она не стоит соверена… она не стоит и полсоверена». «Почему? — удивился продавец. — Попугай же говорит, так?» «Говорит! — негодующе воскликнул фермер. — Эта чертова птица говорит весь день, но ни разу не сказала ничего смешного!»

— У одного моего друга когда-то был попугай… — решил поделиться с нами другой историей философ.

— Почему бы нам не перейти в сад? — предложила светская дама, поднимаясь и подавая пример остальным.

V

— Я прочитал эту книгу с безмерным наслаждением, — признался малоизвестный поэт. — Нашел ее вдохновляющей — настолько вдохновляющей, что, боюсь, не уделил ей должного внимания. Я должен перечитать ее снова.

— Я вас понимаю, — кивнул философ. — Книга, которая действительно нас заинтересовывает, заставляет забыть, что мы читаем. Точно так же, как в самом приятном разговоре никто вроде бы ни о чем не говорит.

— Вы помните того русского? — спросила светская дама, поворачиваясь к малоизвестному поэту. — Джордж привозил его три месяца тому назад. Я забыла его фамилию. Она совершенно непроизносимая, за исключением окончания, разумеется, двойного «ф». Да и по буквам ее не произнести. Я с самого начала честно и откровенно сказала ему, что буду называть его по имени, к счастью очень простому, — Николас. И он прекрасно меня понял.

— Я его припоминаю, — ответил малоизвестный поэт. — Очаровательный человек.

— И вы его совершенно очаровали, — улыбнулась светская дама.

— Мне понятно почему, — пробормотал малоизвестный поэт. — Один из умнейших людей, с которыми мне доводилось встречаться.

— Вы два часа разговаривали в углу, — продолжила светская дама. — После вашего ухода я спросила его, что он о вас думает. «Ах, какой собеседник!» — воскликнул он, восхищенно всплеснув руками. «Я подумала, что вы, возможно, это заметили, — ответила я. — Скажите мне, о чем вы говорили?» Меня это действительно интересовало. «Вы так увлеклись разговором, что совершенно забыли о присутствии остальных». «Клянусь вам, ответить я не смогу, — услышала я. — Знаете, теперь, когда я думаю об этом, боюсь, вышло так, что я монополизировал весь разговор». Я порадовалась, что смогла убедить его не тревожиться по этому поводу. «Откровенно говоря, я так не думаю. Я бы это точно знала, даже если бы не видела все своими глазами».

— Вы совершенно правы, — согласился малоизвестный поэт. — Я помню, что вносил свою лепту в разговор. И получалось у меня вроде бы очень неплохо.

— Вы, возможно, также вспомните, — добавила светская дама, — что при нашей следующей встрече я спросила вас, о чем он говорил, и, как выяснилось, в вашей памяти ничего не

сохранилось. Вы только признали, что собеседник он замечательный. Тогда я пребывала в недоумении, но теперь начинаю понимать. Вы оба, без сомнения, нашли ваш разговор столь захватывающим, что каждый из вас, вероятно, думал, что говорит он один.

— Хорошая книга или хороший разговор — все равно что хороший обед: человек его усваивает, — указал я. — Самый лучший обед — когда ты не знаешь, что съел.

— Многое часто вызывает интересные мысли, не будучи интересным само по себе, — поддержала разговор старая дева. — Часто я чувствую подступающие к глазам слезы, когда становлюсь свидетельницей какой-нибудь глупой мелодрамы: что-то говорится, на что-то намекается, возникает воспоминание, приходит мысль.

— Несколькими годами раньше я сидел в партере мюзик-холла рядом с мужчиной, приехавшим из сельской глубинки, — я начал рассказ о вспомнившемся мне случае. — Он наслаждался представлением до половины одиннадцатого. Песни и юморески о тещах, пьяных женах и деревянных протезах вызывали у него громкий смех. В половине одиннадцатого на сцене появился известный комик, который специализировался на «Сжатых трагедиях» — так он это называл. Над двумя первыми мой деревенский друг хохотал. А после третьей — «Маленький мальчик — пара коньков, треснувший лед — врата рая» — побледнел, торопливо поднялся и вышел из зала. Десятью минутами позже я последовал за ним и случайно наткнулся на него в баре у театра «Критерион», где он налегал на виски. «Не мог больше слушать этого дурака, — осипшим голосом объяснил он мне. — Дело в том, что мой младший сын утонул прошлой зимой, катаясь на коньках. Разве можно смеяться над настоящей трагедией?»

— Я могу дополнить вашу историю другой, — заполнил паузу философ. — Месяц или два тому назад Джим прислал мне два билета на одну из его премьер. Билеты попали ко мне только в четыре часа пополудни. Я пошел в клуб в надежде найти того, кто составит мне компанию. Увидел только одно знакомое лицо, застенчивого молодого человека, нового члена. Его недавно приняли на работу в адвокатскую контору Бейтса в Стэпл-Инн. Думаю, вы его встречали. В Лондоне он мало кого знал, поэтому с радостью принял мое приглашение. Пьесу давали из фарсов о французском дворе: какую именно, значения не имеет, все они похожи. Интрига заключалась в том, что кто-то пытался согрешить, но так, чтобы не поймали. Такие пьесы всегда принимаются хорошо. Английской публике неизменно нравится

сюжет, при условии, что все щедро сдобрено юмором. Нас шокирует только серьезное обсуждение греха. На сцене мы видели обычное хлопанье дверей и обычные крики. Вокруг все смеялись. Мой молодой друг сидел с легкой улыбкой на лице. «Неплохой сюжет», — сказал я ему, когда занавес опустился второй раз под громкие аплодисменты. «Да, — ответил он, — полагаю, это очень смешно». Я посмотрел на него — он был чуть старше мальчика. «Вы еще слишком молоды, чтобы стать моралистом». Он рассмеялся: «Со временем я это перерасту». Позже он рассказал мне свою историю, когда мы получше познакомились. Он сам оказался участником такого вот фарса в Мельбурне — молодой человек родился и вырос в Австралии. Только третье действие закончилось иначе. Его юная жена, которую он нежно любил, восприняла все очень серьезно и покончила с собой. Глупейший поступок.

— Мужчина — чудовище! — воскликнула выпускница Гертона, которой нравилось припечатывать словом.

— Я тоже так думала, когда была моложе, — улыбнулась светская дама.

— А теперь не думаете, даже когда слышите такое? — спросила выпускница Гертона.

— Разумеется, милая моя, в мужчине многое от животного, — ответила светская дама. — Но в свое время я воспринимала их примерно так же, как и вы. Назвала дикарями в разговоре с одной очень пожилой дамой, с которой проводила зиму в Брюсселе много лет назад почти что девочкой. Давняя знакомая моего отца, она была милейшей и добрейшей… я чуть не сказала, самой идеальной женщиной, какую я только знала. Хотя в ее молодости, в раннюю викторианскую эпоху, о ней ходило столько историй. Лично я им не верила. Ее спокойное, благородное, невозмутимое лицо в обрамлении мягких белоснежных волос… я помню, как сразу подумала о ней, в первый раз увидев Маттерхорн.

— Дорогая моя, — рассмеялась старая дева, — ваше повествование становится таким же дерганым, как синематограф.

— Я и сама это заметила, — кивнула светская дама. — Стараюсь сразу рассказать слишком о многом.

— Мастерство raconteur[5] состоит в том, чтобы опускать несущественное, — заметил философ. — Одна моя знакомая, насколько я помню, никогда не добиралась до конца истории. Не имело ровно никакого значения, как звали человека, который что-то сделал или что-то сказал, Браун, Джонс или Робинзон. Но она начинает страшно волноваться из-за того, что не может ее вспомнить. «Да что это со мной! — восклицает она. — Я же точно знаю его фамилию. Какая же я глупая!» Она заявляет, что должна

вспомнить эту фамилию, что всегда ее помнила до этого злосчастного момента. Обращается за помощью к половине присутствующих в гостиной. Не имеет смысла просить ее продолжить, она может думать только об этой фамилии. В конце концов неимоверными усилиями вспоминает, что фамилия эта Томкинс, но радость длится недолго. Женщина вновь впадает в отчаяние, потому что теперь забывает адрес Томкинса. Сгорая от стыда, она вновь отказывается продолжить рассказ и, коря себя, удаляется в свою комнату. Позднее возвращается, сияя, с названием улицы и номером дома. Но к тому времени она уже забыла саму историю.

— Так расскажите нам о вашей пожилой даме и о том, что вы ей сказали, — в голосе выпускницы Гертона слышалось нетерпение. Ей всегда нравилось, когда обсуждались скудоумие или преступные тенденции противоположного пола.

— Я находилась в том возрасте, — продолжила светская дама, — когда юная девушка, устав от сказок, откладывает книгу, вглядывается в окружающий ее мир и, естественно, испытывает негодование от того, что видит. Тогда я очень строго судила как недостатки, так и достоинства мужчины — нашего естественного врага. У моей пожилой подруги суждения эти вызывали смех, и я полагала ее черствой и глупой. Однажды наша бонна, как и все слуги обожавшая посплетничать, пришла к нам с историей, доказывающей мою правоту в оценке мужчины. Бакалейщик — его магазин находился на углу нашей улицы, — лишь четыре года женатый на очаровательной и любящей его женщине, бросил ее и сбежал. «Он даже не намекал о своих намерениях! — сообщила нам Жанна. — Чемодан с одеждой и всем необходимым запаковал заранее и неделю держал в камере хранения на вокзале. А потом сказал жене, что идет играть в домино и вернется поздно. Поцеловал ее и дитя, пожелал им спокойной ночи — и… больше она его не видела. Слышала ли мадам что-то подобное?» — заключила Жанна и вскинула руки к потолку. «Сожалею, если мне придется разочаровать тебя, Жанна, но слышала», — со вздохом ответила моя обожаемая мадам и перевела разговор на близящийся обед. Я повернулась к ней, как только за Жанной закрылась дверь. До сих пор помню, каким праведным негодованием горело мое лицо, потому что я часто разговаривала с этим бакалейщиком и всегда думала, какой он хороший муж — добрый, заботливый, души не чающий в своей femme.[6] «Разве это не доказательство моих слов, что мужчины животные?» — воскликнула я. «Боюсь, случившееся помогает склоняться к такой мысли», — ответила моя пожилая подруга. «Но вы все равно их защищаете», — упрекнула я ее. «В моем возрасте, дорогая моя, не

защищают и не обвиняют, но пытаются понять. — И она положила тонкую бледную руку на мою голову. — Хочешь послушать продолжение этой истории? Не слишком приятное, но, возможно, необходимое для понимания». «Больше ничего не хочу слышать, — заявила я. — Наслушалась достаточно». «Иногда очень важно услышать все, а уж потом делать какие-то выводы. — И она позвонила, вызывая Жанну. — Эта история о бакалейщике, она меня заинтересовала. Почему он бросил жену и сбежал… ты знаешь?» Жанна пожала полными плечами. «Ох, это старая история, мадам», — и с губ ее сорвался короткий смешок. «Кто она?» — спросила моя подруга. «Жена месье Савари, колесного мастера? О таком муже может мечтать каждая женщина! А у них это продолжалось не один месяц — ведь его жена шлюха!» «Благодарю тебя, Жанна, можешь идти. — Она повернулась ко мне, когда за Жанной закрылась дверь. — Дорогая моя, как только я вижу плохого мужчину, сразу заглядываю за угол в поисках женщины. А когда вижу плохую женщину, то слежу за ее глазами: я знаю, что она подыскивает себе подобного. Природа все создает парами».

— Не могу отделаться от мысли, что переоценка женщин принесла человечеству немалый вред, — указал философ.

— Да кто их переоценивает? — пожелала знать выпускница Гертона. — Мужчинам свойственно говорить нам всякую чушь, — я не знаю, найдется ли среди нас хоть одна достаточно глупая, чтобы в это поверить, но я совершенно уверена: в своей компании они тратят большую часть времени, смешивая нас с грязью.

— Едва ли это справедливо, — вмешалась старая дева. — Я сомневаюсь, что между собой они говорят о нас так много, как мы думаем. И потом, это неправильно, закрывать глаза на факты. Многие прекрасные слова сказаны о женщинах мужчинами.

— Что ж, спросим их, — воскликнула выпускница Гертона. — Здесь присутствуют трое. А теперь, честно, разговаривая о нас между собой, вы восторгаетесь нашей добродетельностью, и добротой, и мудростью?

— Восторгаетесь? — раздумчиво повторил философ. — «Восторгаться» не совсем правильное слово.

— Справедливости ради должен признать, что наша гертонская подруга в определенной степени права, — сказал я. — Каждый мужчина в какой-то период своей жизни переоценивает одну конкретную женщину. Очень молодые люди, которым еще недостает жизненного опыта, восхищаются всеми без разбора. Для них ангелами становятся все, кто носит нижнюю юбку. Очень старые мужчины, как мне говорили, возвращаются к заблуждениям юности, но этого я еще не могу утверждать

наверняка. А остальные… когда мы одни… что ж, соглашусь с философом, «восторгаться» не совсем правильное слово.

— И я о том же, — фыркнула выпускница Гертона.

— Возможно, — добавил я, — это результат реакции. Условности требуют, чтобы в лицо мы выказывали женщине подчеркнутое уважение. Все ее глупости должны восприниматься как довесок к обаянию — так постановили поэты. И это, возможно, приятно — дать маятнику качнуться в другую сторону.

— Но разве не факт, что лучшие и даже мудрейшие мужчины как раз те, кто ставил женщину очень высоко? — спросила старая дева. — Разве мы оцениваем цивилизацию не по позиции, которая отведена в ней женщине?

— Точно так же мы судим о цивилизации по мягкости законов и отношению к слабым, — ответил я. — Нецивилизованный человек убивал тех членов племени, которые не приносили пользы. Мы обеспечиваем их больницами и приютами. Отношение мужчины к женщине показывает, до какой степени ему удалось обуздать свой эгоизм, на какое расстояние он удалился от закона обезьяны: кто силен, тот и прав.

— Пожалуйста, поймите меня правильно, — взмолился философ, нервно глянув на сдвинутые брови выпускницы Гертона. — Я ни на мгновение не сомневаюсь в том, что женщина мужчине ровня, более того, я в это верю. Я лишь хочу сказать, что она не стоит выше его. Мудрый мужчина воспринимает женщину как свою подругу, своего коллегу, своего компаньона. Это дурак полагает ее недочеловеком.

— Но разве мы не стремимся к идеалу? — настаивала старая дева. — Я не говорю, что женщины совершенны, пожалуйста, не надо так думать. Мы лучше других осознаем свои недостатки. Прочитайте романы женщин-писательниц начиная с Джордж Элиот. Но ради нашего блага… это же нехорошо, когда мужчина смотрит на кого-либо свысока, и, не найдя ничего лучшего, он…

— Я провожу очень широкую линию между идеалом и заблуждением, — ответил философ. — Идеал всегда помогал человеку. Но он принадлежит стране грез, его самому важному королевству, королевству будущего. Заблуждения — это земные строения, которые рано или поздно рушатся ему на голову, ослепляя пылью и грязью. Государство, управляемое нижней юбкой, всегда дорого платит за свою глупость.

— А королева Елизавета! — вскричала выпускница Гертона. — Королева Виктория!

— Были идеальными королевами, доверяя управление государством способнейшим из мужчин, — уточнил философ. — Франция под Помпадур, Византийская империя под Феодорами

— наглядные примеры моего тезиса. Я говорю о неразумности предположения, будто все женщины совершенны. Велизарий погубил себя и своих людей, веря, что его жена — честная женщина.

— Но рыцарство, несомненно, пошло человечеству на пользу, — указал я.

— Разумеется, — согласился философ. — Естественные человеческие страсти нашли благородное применение. Да и реальные условия жизни тому способствовали. Священное право королей и непогрешимость церкви завалили землю безжизненными телами, за что человечеству пришлось заплатить высокую цену. Не вытянувшаяся во весь рост ложь, — ей можно противостоять и победить — а убитая правда мешает продвижению вперед. Для человека войны и насилия, несущего жестокость и несправедливость, женщина оставалась единственной, кому он мог с радостью уступить. Женщина в сравнении с этим мужчиной являлась ангелом: и это не просто слова. Все нежное, что оставалось в мире, сосредотачивалось в ее руках. Для воина жизнь делилась на сражения и пиршества, женщины же пользовали раненых, помогали слабым, утешали печалящихся, белыми ногами ходили по миру, который мужчина своими грехами сделал черным. Покорность женщины церкви, ее врожденное восхищение формой и ритуалом, теперь это проявляется не в такой степени, приводили к тому, что мужчина воспринимал женщину живой душой его религии, видел ее в божественном ореоле. Женщина тогда находилась на положении прислуги. Ей было свойственно культивировать в мужчине нежность и милосердие. С тех пор она превратилась в хозяйку мира. Теперь она не видит своей миссией смягчение животных инстинктов мужчины. Сегодня воюют женщины, женщины применяют грубую силу. Ныне женщина, довольная собой, не слышит тихого крика боли, который издает мир, и уважает только мужчину, игнорирующего нужды всех ради удовлетворения потребностей его собственной семьи, называя плохим мужем и отцом мужчину, который видит свои обязанности не только перед собственным домом. На ум приходит упрек в связи с длительным отсутствием, высказанный леди Нельсон ее мужу после битвы при Абукире. «Я женат на жене, а потому приехать не могу», — последовал ответ, который не понравился бы многим женщинам. На днях я разговаривал с одной женщиной о том, как это жестоко, сдирать кожу с тюленей живьем. «Мне так жаль бедняжек, — пробормотала она. — Но говорят, что при этом цвет меха становится более глубоким». И ее меховой жакет, конечно же, выглядел великолепно.

— В мою бытность редактором газеты я завел специальную колонку на эту тему, — поделился я. — Мне приходило много писем, в большинстве тривиальные, многие пустые. Одно, такое искреннее, я помню до сих пор. Написала его молодая женщина, которая шесть лет проработала помощницей у модной портнихи. Ей изрядно поднадоела аксиома, что все женщины во все времена — само совершенство. Она предложила всем поэтам и романистам с год поработать в любом большом ателье по пошиву одежды или шляп. Там они получили бы прекрасную возможность увидеть и изучить женщин в их естественном состоянии.

— Это несправедливо, судить нас — в этом я сознаюсь — по нашей главной слабости, — возразила светская дама. — Женщина в поисках красивой одежды перестает быть цивилизованным человеком, превращаясь в первобытного дикаря. А кроме этого, эти портные так умеют мотать нервы! Так что вина не только на нас.

— Я по-прежнему не убеждена, что женщину перехваливают, — стояла на своем выпускница Гертона. — Даже в этом разговоре, зашедшем очень далеко, ваша точка зрения не доказана.

— Я не говорю, что это повод для спора среди интеллигентных, думающих людей, — объяснил философ. — Но в массовой литературе ситуация именно такая. Ни один мужчина не выскажет свои претензии в лицо женщине, и женщина, что ей только во вред, привыкла принимать это как должное. «Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных». В том или ином виде это впитывается в кровь девочки, полностью лишая ее надежды на совершенствование. У девочки, а потом и девушки отбивают охоту задать себе иногда очень нужный вопрос: «Именно этот путь позволит мне стать здравомыслящим, полезным членом общества или на нем меня подстерегает опасность превратиться в тщеславную, эгоистичную, ленивую, ни на что не пригодную никчемность?» Она спокойна и безмятежна, раз уж не может обнаружить в себе следов мужских грехов, забывая, что есть грехи и женские. Женщина — избалованный ребенок нашего времени. Никто не говорит ей о ее недостатках. Мир в тысячу голосов льстит ей. Плохое настроение, вспыльчивость, ослиное упрямство толкуются как «проказы милашки Фанни». Трусость, презираемую и в мужчинах, и в женщинах, поощряют выдавать за обаяние. Неспособность уложить чемодан или в одиночку пересечь площадь, даже обойти угол, считается привлекательной чертой. Зашкаливающее невежество и непроходимую тупость превращают в поэтический идеал. Если она дает пенс уличному нищему, причем обычно

выбирает не нуждающегося, а того, кто этим зарабатывает, или целует в нос щенка, мы расхваливаем ее без всякой меры, объявляя святой. Мне даже представляется чудом, что, несмотря на все глупости, которыми девушек буквально закармливают, столь многие из них вырастают в благоразумных женщин.

— Лично меня утешает убежденность в том, — наконец-то принял участие в беседе малоизвестный поэт, — что разговор ради разговора приносит миру гораздо меньше пользы и гораздо меньше вреда, чем мы можем себе представить. Слова, которые вызревают и приносят плоды, должны падать в почву фактов.

— Но вы согласны с тем, что с глупостью надо бороться? — спросил философ.

— Господи, да! — воскликнул малоизвестный поэт. — Глупость мы можем убить. Против Истины наши стрелы бессильны.

VI

— Но зачем она это сделала? — спросила старая дева.

— Зачем? Не верю, что таким, как она, нужны причины. — Светская дама выказывала признаки раздражения, что случалось с ней крайне редко. — Говорит, что ей не хватало работы.

— Должно быть, она экстраординарная женщина, — прокомментировала старая дева.

— Никто не поверит, сколько сил я положила на то, чтобы удержать эту женщину, потому что Джордж любит ее закуски, — с негодованием продолжила светская дама. — Последние шесть месяцев мы регулярно раз в неделю приглашали гостей на обед исключительно ради нее. Теперь она хочет, чтобы я устраивала два обеда. Я на это не пойду!

— Может быть, я смогу помочь? — предложил малоизвестный поэт. — Пищеварение у меня, конечно, уже не то, что прежде, но, думаю, во вред мне это не пойдет — recherché[7] маленький банкет дважды в неделю, скажем, по средам и субботам. В эти дни я буду приходить к вам, если вы думаете, что ее это устроит.

— Благодарю вас за стремление помочь, — ответила светская дама, — но я не могу на это пойти. Почему вы должны отказываться от простой трапезы, уместной для поэта, чтобы ублажить мою кухарку? Это не причина.

— Я думал о вас, — указал малоизвестный поэт.

— А я склоняюсь к тому, чтобы полностью отказаться от ведения домашнего хозяйства и переехать в отель, — заявила светская дама. — Мне не нравится эта идея, но прислуга просто безобразничает.

— Как это интересно, — вырвалось у малоизвестного поэта.

— Я рада, что вы находите это интересным! — фыркнула светская дама.

— Что вы находите интересным? — спросил я малоизвестного поэта.

— Что тенденция нашей эпохи — медленное, но неуклонное движение к практическому установлению общественного государства, тогда как уже многие годы мы клянем социалистов за такие предложения. Везде множатся общественные дома, тогда как число частных сокращается.

— Стоит ли этому удивляться? — прокомментировала светская дама. — Вот вы, мужчины, говорите о радостях дома. Некоторые из вас даже пишут стихи, во всяком случае один. А живет он в меблированной квартире и две трети дня проводит в клубе.

Мы сидели в саду, и внимание малоизвестного поэта привлек закат.

— «Этель и я у камина!» У Этель никогда нет возможности посидеть у камина. Пока вы в гостиной и вам тепло и уютно, вы не замечаете, что она ушла, чтобы потребовать объяснений, почему в гостиной ящик для угля всегда наполнен угольной пылью или мелким углем, тогда как лучший уголь сгорает в кухонной печи. Для нас, женщин, дом — место работы, которое мы никогда не можем оставить.

— Я полагаю, дело в образовании, — заговорила выпускница Гертона.

К моему изумлению, она сказала это без какого-либо раздражения, а как правило, ей всегда что-то не нравилось. Со временем она, разумеется, перестанет удивляться тому, что мир совсем не такой, каким она его себе представляет, и ее покинет убежденность, что она, если дать ей волю, сумеет все исправить за четверть часа. Но теперь случалось, что ее тон не предполагал, будто она первая, кто уделил серьезное внимание затронутому вопросу.

— Наши бабушки целиком и полностью заполняли свою жизнь мелкими домашними делами, — продолжила выпускница Гертона. — Они вставали рано, давали указания слугам, следили за всем. Теперь нам нужно время на самосовершенствование, чтение, размышления, удовольствия. И тяжелая домашняя работа больше не цель нашей жизни, а скорее помеха. И от этого мы негодуем.

— Нынешний мятеж женщины историки будущего назовут одним из факторов социальной эволюции, — отвлекся от заката малоизвестный поэт. — Мы еще поем дифирамбы понятию «дом», но предчувствие дурного нарастает. Все зависит от того, сколько еще женщина готова оставаться рабыней. Когда Адам копал и Ева пряла, — Адам ограничивал копание размером собственного участка, Ева оставляла прялку, обеспечив домашних одеждой, — дом высился на солидном основании бытия. Фундамент начал сотрясаться, когда мужчина стал гражданином и его интересы вышли за пределы домашнего круга. С того самого момента женщина в одиночестве удерживала дом на плаву. Теперь уже она заявляет о своем праве выходить в общество, потому что хочет покинуть камеру одиночного заключения, каковой является замок супруга. В каждом квартале растут пансионы с общими гостиными, комнатами для чтения, системой обслуживания, а дома и виллы исчезают. Та же история в других странах. Там, где еще остается отдельное жилище для проживания, оно все равно встраивается в систему. В Америке, этой экспериментальной

лаборатории будущего, дома обогреваются от общего источника тепла. Вы не зажигаете огонь, вы включаете подачу горячего воздуха. Ваш обед привозят в передвижной духовке. Вы заказываете на конкретное время личного слугу для себя и горничную для вашей супруги. Очень скоро частное домашнее хозяйство с неорганизованными, вечно ссорящимися слугами, которые или работают на износ, или бьют баклуши, перестанет существовать, как уже случилось с жилищами, оборудованными в пещерах.

— Надеюсь до этого дожить, — усмехнулась светская дама.

— Вполне вероятно, что доживете, — ответил ей малоизвестный поэт. — Я питаю не меньшие надежды.

— Если вашему пророчеству суждено сбыться, — вставил философ. — Я же утешаю себя тем, что в нашей компании я самый старший. Лично я никогда не читал этих полных и обстоятельных отчетов о следующем столетии, не порадовавшись тому, что я умру и меня похоронят, прежде чем все это станет реальностью. Это, возможно, эгоистичное отношение, но я на дух не приемлю эти варианты будущего, создаваемые нашей растущей армией провидцев. Мне представляется, что вы — большинство из вас — игнорируете одно очень важное условие — факт, что человечество — живой организм. И основа для многих предположений такова: раз человек за столько тысяч лет продвинулся на столько-то, в таком направлении и с такой-то скоростью, из этого следует… и так далее. Вы забываете, что многое определялось прорывами, учесть которые в расчетах нет никакой возможности. Силы, их обусловившие, в вашей алгебре не представлены. В одно столетие христианство низвело республику Платона до абсурда. Печатный станок свел на нет все выводы Макиавелли.

— Я с вами не согласен, — покачал головой малоизвестный поэт.

— Этот факт не убеждает меня в ошибочности моего тезиса, — ответил философ.

— Христианство лишь придало дополнительный импульс тому, — продолжил малоизвестный поэт, — что уже существовало в зачаточной стадии. Печатный станок, научивший нас думать в целом, в определенной степени создал проблемы индивидууму, личные цели которого не всегда совпадают с общими. Попытайтесь без предрассудков, без сантиментов взглянуть на панораму человечества. Какая получается картина? Люди блуждают по дикой, безмолвной пустыне. Сначала они прячутся в норах и пещерах, потом в примитивных бревенчатых хижинах, вигвамах и других первобытных жилищах. Здесь каждый

сам по себе. Вот человек в сопровождении своей самки и детей крадется в высокой траве, всегда настороже, всегда в страхе, утоляет считанные желания, с помощью отдельных звуков и жестов передает крошечный нажитый опыт потомкам, наконец, заползая где-нибудь под камень, умирает. Продолжаем наш обзор. Пролетела тысяча столетий. Поверхность земли испещрена какими-то странными колышущимися пятнами. Там, где солнце освещает лес и море, они близки, почти соприкасаются друг с другом; среди теней пятна разнесены на большое расстояние. Племя уже сформировалось. Вся крохотная масса движется вперед, останавливается, бежит назад, всегда в едином порыве. Человек открыл секрет взаимопомощи. Поднимается Город. Из его каменного центра распространяется сила. Возникает Нация и расширяет свое влияние. Теперь жизнь каждого человека уже не посвящена удовлетворению его простых, личных потребностей. Оружейный мастер, мыслитель — эти ребята его защитят. Сократ думает, Фидий рубит мрамор, тогда как Персей поддерживает соблюдение закона, а Леонид не подпускает варваров. Европа аннексирует кусок за куском в темных уголках мира, дает им свои законы. Империя проглатывает маленькие государства; Россия подбирает под себя Азию. В Лондоне мы поднимаем тост за союз англоговорящих людей; в Берлине и Вене мы говорим о возрождении немецкого общества; в Париже шепчемся об объединении католиков. В малом происходит то же, что и в большом. Магазины, гигантский «Эмпориум» заменяют множество лавок. Концерн объединяет сотню фирм. Границы языка или страны становятся узкими для новых идей. Немецкий, американский или английский — чей бы раскрашенный кусок холста ни развевался на мачте, капитан судна принадлежит всему человечеству. Сто пятьдесят лет назад старый Сэм Джонсон ждал в приемной патрона; сегодня целый мир приглашает мистера Джонсона озвучить его разговор за чаепитием, пока он сам пьет чай. Поэт, романист говорит на двадцати языках. Национальная принадлежность уйдет в прошлое. Широкие дороги оплетут мир от полюса до полюса. Только слепой не видит, куда мы мчимся. Этого еще нет, но ждать осталось поколение или два. Будет один гудящий Улей — один всеобщий Улей размером с земной шар. Пчелы появились раньше нас. Они давно нашли решение загадки, над которым мы продолжаем биться.

Старая дева содрогнулась:

— Что за ужасная идея!

— Для нас, — уточнил малоизвестный поэт. — Но не для тех, кто придет после. Ребенок страшится взросления. Аврааму, кочующему по миру со своими стадами, жизнь современного

городского человека, с десяти до четырех просиживающего в своем кабинете, казалась бы тюремным заключением.

— По мне, так лучше жить по заветам Авраама, — заметил философ.

— По мне, так тоже, — согласился малоизвестный поэт. — Но ни вы, ни я не олицетворяем тенденцию эпохи. Мы ее курьезы. Мы и такие, как мы, служим для того, чтобы притормаживать скорость прогресса. Гений человечества проявляет себя в движении к организованному обществу: жизни всех сплавлены воедино, контролируются одной общей идеей. Индивидуального рабочего затягивает на фабрику. Чиппендейл теперь нужен только на стадии эскиза и чертежной документации. Сам стул соберут пятьдесят рабочих, каждый отточивший до совершенства порученную ему операцию. Почему отель, где работают пятьсот человек, обслуживающий три тысячи постояльцев, работает как часы, тогда как в семейной резиденции, где проживают два или три человека, наблюдается постоянная суета и трения? Мы теряем талант жизни в одиночестве; инстинкт общественной жизни выгоняет нас из собственного дома.

— Тем хуже для общества, — покачал головой философ. — Человек, как говорил Ибсен, по-настоящему велик, когда стоит один. Вернемся к нашему другу Аврааму. Конечно же, он, кочующий среди девственной природы, разговаривающий со своим Богом, гораздо ближе к идеалу, чем современный гражданин, думающий за утренней газетой, аплодирующий из партера глупым словечкам, гогочущий над грубыми шутками. В обществе всегда правят низшие. Вы упомянули, что весь мир нынче приглашает Сэмюэля Джонсона на чашку чаю. Сколь многие читают его в сравнении с подписчиками «Анекдоты за полпенса»? Это «коллективное мышление», как теперь говорят, куда оно нас приведет? К беснованию и дрейфусовским скандалам. Если бы Сократ и Галилей, Конфуций и Христос коллективно мыслили, мир действительно превратился бы в муравейник, к чему его и ведет неизбежный ход событий.

— Необходимо учитывать обе стороны медали, — отреагировал малоизвестный поэт. — Толпа, признаю, сама по себе ничего не создает. С другой стороны, если она принимает некие идеалы, то дает им необходимую защиту. Она с большей готовностью реагирует на добро, чем на зло. Общедоступные шестипенсовые наборы репродукций — это же твердыня добродетели. Грабитель, который обокрал собственную мать, аплодирует вместе с остальными заявлению о врожденном рыцарстве мужчины. Спросите его, достойно ли обкрадывать собственную мать, какие бы обстоятельства ни обуславливали

этот поступок, и его ужаснет сама эта мысль. Хулиган, чей патриотизм находит свое выражение в том, что он выплескивает грязную воду в лицо своей девушке с континента; уличная девка, насосавшаяся абсента, кричащая: «Бей жидов!» — движущая сила, которая толкает их, по своей природе идеальна. Даже превращая себя в посмешище, толпа может прийти в действие, лишь когда затронуты ее лучшие инстинкты. Услугу, оказанную Прометеем человечеству, нельзя оценивать по статистике страховых компаний. Миру в целом от объединения индивидуальностей пользы больше, потому что он может достигнуть прогресса только через это объединение. Для дикарей, однажды ступивших на извилистую дорогу цивилизации, мы очень многого добились. Дорога, такая же извилистая, уходит ввысь, скрыта от нас туманами, но именно по ней лежит наш тернистый путь к земле обетованной. Не к развитию индивидуума — это его личная забота, — а к преображению человечества в целом, вот к чему надо стремиться. Великие одиночки — пастыри стада, слуги, а не хозяева мира. Жаль, конечно, что у «Анекдотов за полпенса» и подобных изданий так много читателей. Может, они учат читать тех, кто иначе не прочитал бы ничего. Мы нетерпеливы, забываем, что приход и уход поколений — всего лишь покачивание маятника часов Природы. Вчера мы бронировали места на гладиаторских шоу, на сожжении христиан, смотрели на публичные казни у Ньюгейтской тюрьмы. Даже музыкальный фарс в сравнении с этим — шаг вперед, хотя бы по части гуманизма.

— На Юге США проводили экскурсионные туры по местам линчеваний, — указал философ. — Во Франции набирает популярность коррида. Английские газеты выступают за возврат к травле медведя и петушиным боям. Разве мы не движемся по кругу?

— Дорога извилистая, как я и отмечал, — ответил малоизвестный поэт. — А подъем иногда крут. Сейчас, возможно, мы даже идем в обратную сторону, но я уверен, что после очередного поворота двинемся в правильном направлении. Я вижу много ответвлений, которые уводят вниз. Однако мы карабкаемся наверх, друг мой, мы карабкаемся.

— Но к такой отвратительной цели, если исходить из вашей теории, — пробурчала старая дева. — Мне бы очень не хотелось ощущать себя насекомым в улье, с ограниченным кругом обязанностей, с каждым действием, отрегулированным законом, с предписанным и положенным только мне местом, едой и питьем. Вы думаете, это будет веселенький мир?

Малоизвестный поэт рассмеялся:

— Дорогая моя, слишком поздно. Все уже случилось. Нас накрывает Улей, ячейки строятся. Кто теперь живет, как ему хочется? Кто сам себе хозяин? Что вы можете делать, как не жить согласно вашему доходу в — я совершенно в этом уверен — очаровательной маленькой ячейке; жужжать в своем маленьком мирке веселенькую песенку, помогать своим друзьям-насекомым, день за днем делать полезные дела в полном соответствии с вашим темпераментом и средствами, видеть те же лица, общаться в том же узком кругу? Почему я пишу стихи? Не надо меня в этом винить. Я должен жить. Это единственное, что я умею делать. Почему один человек живет и умирает на лишенных деревьев скалах Исландии, а другой трудится на виноградниках Апеннин? Почему одна дама постоянно меняет кавалеров, пьет джин, ездит в экипаже в Эппинг-Форрест, меняется шляпами с сопровождающим ее мужчиной на пути домой? Почему другую с марта по июнь каждый вечер приглашают на обед и еще в пять-шесть мест, а с июля по февраль она перебирается из своего загородного особняка на континентальный курорт, одевается в полном соответствии с указаниями ее модистки, произносит остроумные фразы, которых от нее ждут? Кто пошел бы в плакальщицы или дуэньи, будь все дороги свободны? Кому удается обойти закон Улья? Только бродягам. С другой стороны, кого мы уважаем и кому завидуем? Человеку, который служит обществу. Так сказать, ориентированному на общество человеку. Человеку, лишенному эгоизма. Тому, кто работает не потому, что работа дает ему прибыль, а потому, что приносит удовольствие. Тому, кто посвящает дни и ночи изучению секретов природы и кто приобретает знания, полезные для всего человечества. Разве этот человек не счастливчик, обуздавший собственные низменные желания и полностью отдающий себя на благо общества?

Улей образовался давным-давно. Только построили его не по справедливым законам. Большой человек получает ячейку, которая крупнее любой другой; все маленькие люди завидуют ему; тысячи служат ему, кладут жизнь за него и ради него; весь свой мед они приносят ему; он обжирается, тогда как они голодают. И ради чего? От уникальности ячейки сон его крепче не становится. Сон нужен усталым глазам и не зависит от шелковых простыней. В Севен-Дайалс сны нам снятся точно так же, как на Парк-лейн. Желудок человека очень маленький и не может раздуваться бесконечно. Запас меда портится. Улей создан в темные дни невежества, глупости, жестокости. Новый улей поднимется на обломках старого.

— Я и не знала, что вы социалист, — удивилась светская дама.

— Я тоже, пока не начал говорить, — согласился малоизвестный поэт.

— А в следующую среду вы будете превозносить индивидуализм, — рассмеялась светская дама.

— Очень может быть, — согласился малоизвестный поэт. — Душа способна говорить разными голосами.

— Налью-ка я себе еще чашку чаю, — решил философ.

notes

Примечания

1

Перевод Н. Рейн.

2

Речь идет о Томасе Карлейле и Джейн Уэлш Карлейль, одном из самых знаменитых и несчастливых литературных семейных союзов.

3

Имеется в виду Сэмюэл Джонсон, английский критик, лексикограф, писатель XVIII в.

4

Housfrau — домохозяйка, женщина, живущая только интересами семьи *(нем.)*.

5

Рассказчик *(фр.)*.

б

Жена *(фр.)*.

7

Изысканный *(фр.)*.